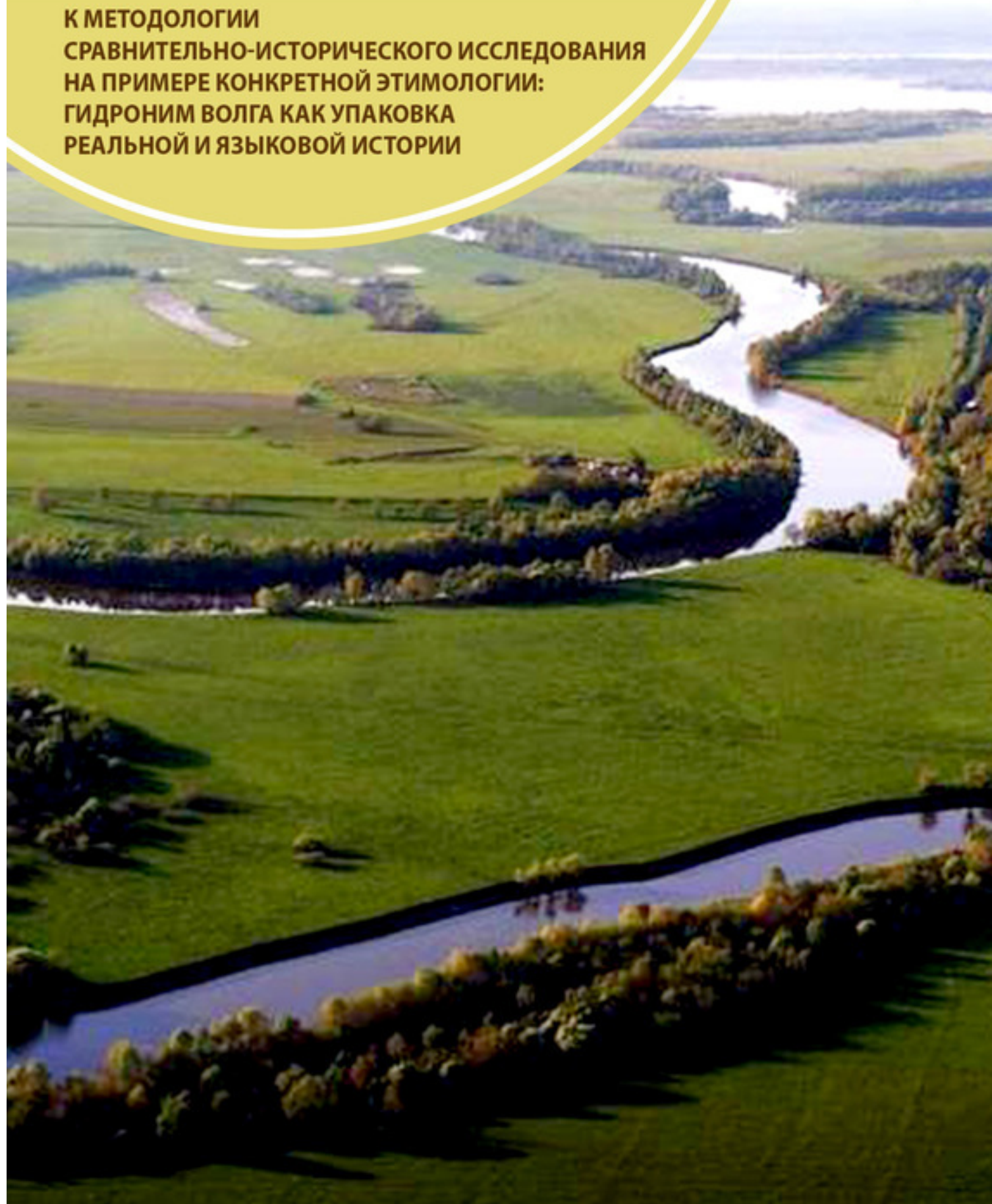


Ю.С. РАССКАЗОВ

СКВОЗЬ ОШИБОЧНУЮ ЛИНГВИСТИКУ ИСТОРИОГРАФИИ

К МЕТОДОЛОГИИ
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОЙ ЭТИМОЛОГИИ:
ГИДРОНИМ ВОЛГА КАК УПАКОВКА
РЕАЛЬНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ ИСТОРИИ



Ю. С. Рассказов

**Сквозь ошибочную лингвистику
историографии. К методологии
сравнительно-исторического
исследования на примере
конкретной этимологии:
гидроним Волга как упаковка
реальной и языковой истории**

«Accent Graphics communications»

2017

Рассказов Ю. С.

Сквозь ошибочную лингвистику историографии. К методологии сравнительно-исторического исследования на примере конкретной этимологии: гидроним Волга как упаковка реальной и языковой истории / Ю. С. Рассказов — «Accent Graphics communications», 2017

В первой части рассмотрены общепринятые варианты толкования слова «Волга», стандартные подходы этимологии и компаративные представления о развитии языка. Обнаружены их поверхностность, ошибочность и нелогичность (мифологичность). В соответствии с другой (не компаративной) линией сравнительно-исторического языкознания сформулированы и многократно проиллюстрированы логические принципы и подходы исследования и сравнения языков. Даны примеры моделирования прошлого по данным языков. Во второй части проверены некоторые общеизвестные данные исторических памятников о Волге (слове и реалии), показаны вольные и невольные ошибки переводчиков, филологов и историографов в чтении этих памятников и вытекающая отсюда деформация и фальсификация прошлого. Продемонстрированы на примерах поэтико-логические принципы чтения памятников, намечены схема историографической увязки сведений и историологический подход к реконструкции истории.

© Рассказов Ю. С., 2017

© Accent Graphics
communications, 2017

Содержание

Введение	5
1. Волга по лингвистике	7
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Ю. С. Рассказов
Сквозь ошибочную лингвистику
историографии. К методологии
сравнительно-исторического
исследования на примере конкретной
этимологии: гидроним Волга как
упаковка реальной и языковой истории

Введение

Кому приходилось проезжать летом на автомобиле в зоне нижней Волги, например от Самары до Волгограда, не мог не заметить характерный волнистый рельеф холмов и валов, то зеленовато-, то желтовато-белёсых (от вечно припыленных лесков и степи и вечно присушенного бурьяна), отделяемых друг от друга сухими песчаными оврагами, зеленеющими, но привяленными балками, вологими лощинами, полными туманной влаги или марева полуденных испарений. Часто на очередном спуске в такие лощины видишь, как в них вложены водные языки Волги, виляющей, если судить по указателям и карте, далеко в стороне. Стоит однако выехать на берег, то с недоумением замечаешь, что виляет такой долгий вал вод, который по своей ширине и впрямь есть великое славное море, даже в спокойную погоду погоняющее свои вольные валки волн. А наблюдая в каких-то небольших, не главных, не потёмкинских, населённых пунктах загорелых и припылённых аборигенов волжан, вяло торгующих какой-то ерундой, поделками, овощами или рыбой, невозможно не опознать в них вольных или невольных волгарей и невозможно не проникнуться духом и впрямь великой Волги-матушки. А если ещё вспомнить недавнюю популярную фольк-историю! Султана Селима с его военной переволокой или Петра Великого, по-разному пытавшихся в конце 16 и 17 вв. не просто повторить старинный волок в новом пути из варяг в арабы, а соорудить Волго-Донской канал. Удалось это только к 1952 г. уже другим чудо-богатырям по указанию Великого Сталина... Впрочем, давно нет ни волочной волокаты волов, ни волока бурлаков, ни волоколыма зк и военнопленных арийских Volk'ов, ни волокиты перегруженных барж, ни пустой баланды биваков. Только нескончаемая булга сверкающих издали современных городов и разноголосые балаки сволочённого в них люда. Учитывая современную, позднесоветскую и нынешнюю, всё ещё посоветскую, деградацию Поволжских регионов, включая обмеление Волги-реки, и деградацию всей России, чему никак не найдётся Дна-батюшки, ясно, что всё былинное величие в прошлом, поросло быльем. Но речь пока не об этой хозяйственной разрухе, организованной странными столетними проволочками волостных и всевластных володетелей и володимеров великорусского мира.

Речь пока о слове «волга», о сопричастных с ним словах и поиске их исконных значений. Это, конечно, не исправление имён, но беглый опыт восстановления всех исторических коннотаций, в контексте которых будет понятно, насколько нелепа наша зацикленность лишь на современных, так называемых, «естественных», или «первых», или «академически» – авторитетных значениях.

Заранее признаюсь, это сообщение может показаться слишком жёстким. Но на самом деле это элементарная прямота и честность, сознательно положенная в основу стиля. За всю

мою тридцатилетнюю научную практику не нашлось (если не считать М.К. Мамардашвили в 1989 г.), ни одного человека и специалиста, который бы пошёл на профессиональное общение и для начала просто прочитал исходный текст. Если кто-то и брался читать, то, чаще всего мгновенно, исчезал из контакта. При том, что сначала ничего феноменально нового я не излагал, всего лишь напирая на новую логику вывода. Это особенно странно, если учесть, что среди этих визави были как не самые последние академики (вроде С.С. Аверинцева), так и ближайшие товарищи собутыльники (имя им...). На самом деле это лишь тотальная идейная цензура, из-за которой нельзя и ничего издать даже за свой счёт. Как раз поэтому я и не пытаюсь соблюдать жанровые нормы, трамвайные приличия и риторическую ловкость. Читать меня будут тогда, когда всех нынешних авторитетов уже не будет, а читать будут те, кто ценит только логические сущности, а не дипломатические реверансы.

1. Волга по лингвистике

В самом первом приближении это установление этимологии слова. Само собой, его «истинного, первоначального значения», как это полагается в обиходе уже 2 тысячи лет. Но не только. Сколь-нибудь научный подход требует кроме выверенного значения найти и первую форму слова. В. Пизани: этимология должна «определить формальный материал, использованный тем, кто первый создал слово, и то понятие, которое он хотел выразить этим словом», включая то, «что обычно называется изменением значения» («История – проблемы – метод». М., 1956, с. 70 – <http://history-library.com/index.php?id1=3&category=drugoe&author=pizani-v&book=1956&page=31>). Поскольку я не стремлюсь тут к исчерпывающему лингвистиковедческому охвату всех суждений ни в области теоретических определений (см. «Модель историко-языковых реконструкций».

Инакомысленные материалы к теории сравнительно-исторического языкознания. Книга первая. Выборочная история лингвистики». 2012. 495 с. – <http://www.proza.ru/2012/05/10/1727>), ни по сути темы, начать её проще с эталона современной этимологии – со сводки русского немца М. Фасмера, в энциклопедической статье о Волге чётко показавшего современные научные пределы допустимости того или иного толкования. С учётом существования подобных Волге по звучанию названий для своих рек в чеш. *Vlha* и польск. *Wilga* с их регулярными соответствиями Фасмер «принимает» как самую вероятную форму происхождения слова праслав. **vyłga* с современным, обобщённым из этих же языков значением «влага». Наоборот, из-за отсутствия таких регулярных соответствий (по происхождению и чередованиям в системе языка) отменяются вроде бы похожие слова, фин. *valkea*, эст. *valge*, «белый», или мар. *jul*, тат., башк. *julʒa* «ручей, река». Хотя в одном из этих случаев, кроме прямой невыводимости звуков, и значение «белый» совсем не вяжется к смыслу на фоне «влага» или «река»: с чего это вдруг Волга могла называться белой? Ещё более произволен по значению пример толкования, добавленный к Фасмеру в виде казуса О.Н. Трубачёвым, из похожего звучания от названия птицы иволга, чеш. *vlha*, рус. и-волга. В самом деле, с какой стати реку нужно было наречь по имени птички? С таким же успехом можно и воловьём. Скорее птичку следует назвать по имени той реки, на берегах которой она эксклюзивно обитает. В отношении иволги этот пример не работает: она живёт практически по всей Европе, а в России – в умеренных широтах вплоть до Енисея.

Но усомниться нужно не только в отношении очевидных глупостей. А с чего вдруг следует считать этимологией слова Волга понятия, точнее, представления «влага» или «река»?

Во-первых, разве есть что особенное во влаге Волги, что определило бы такой выбор имени, или она единственная большая река в России? Нужно дать хотя бы какое-то убедительное реальное обоснование. Сразу скажу, ничего убедительного мне не попадалось. Но это и невозможно в силу заведомой ложности такого хода мысли: название обязательно дается по ценностному выбору носителей языка, поэтому никакого объективного реализма в их чувственном предпочтении просто не может быть. Обоснование может быть реальным, т. е. убедительным, только в психофизическом смысле. Например: вокруг столетиями стоит великая сушь, а эта река всегда полна влагой (жаль, что не водой). Или: все реки так себе, а эта Река – матушка. Первого никогда не было, Волга всегда течёт либо в болотах и плавнях, либо сама становится большим болотом и старицей. А матушкой эта Река является только для русских. Что ж они не назвали её Рекой, а позаимствовали чужой термин реки? Нет, если эта река – матушка, то и Волга – её подлинно русское имя, настолько подлинно-авторитетное, что стало термином реки и для окружающих её народов (т. е. юлга и пр. – это искажённое Волга, как ватт от фамилии Уатт, коньяк от провинции Cognac, бродвей в любой деревне от американского Broadway, голгофа в любой душе от горы Голгофы).

Во-вторых, разве изолированное представление может быть этимологией, исходным значением слова? По самой структуре значения оно вариантно, многозначно, многопонятно (намекая на азы семантики, от Пирса и Фреге до Чомского и Апресяна). Именно поэтому нет и не может быть первого и единственного этимологического значения. Кроме того, выше был перечислен ряд разных слов, выражающих одно представление. Выходит, что самые разные слова, тем более – слова разных языков, имеют одну этимологию? Разумеется, этого не может быть в принципе. В противном случае все языки, по сути, являются одним языком.

Как же совмещается парадокс многозначности любого этимологического значения и уникальности этимологии каждого слова? Решение находится в самой природе слова, точно определённой ещё В. Гумбольдтом и многообразно объяснённой его последователями, лучше всего А.А. Потебнёй, К. Фосслером, А.Ф. Лосевым, М.М. Бахтиным. Если вспомнить Потебню, то слово по указке его формы является особой установкой многих значений – точкой зрения на мир представлений через то, что называется мотивацией, или внутренней формой. «Под словом *окно* мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом *око*, оно значит: то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия. В слове есть, следовательно, два содержания: одно, которое мы выше называли объективным, а теперь можем назвать ближайшим этимологическим значением слова, всегда заключает в себе только один признак; другое – субъективное содержание, в котором признаков может быть множество (пользуемое, условное значение – Ю.Р.)» («Мысль и язык». М., 1999, с. 90 – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/poteb/07.php). Так вот, в строгом смысле найти этимологию слова – это определить его внутреннюю форму, объективную мотивировку (например, по Потебне, всё же речь об отверстии, местоименно названном: око воно-вно, т. е. наружу и внутрь: оковно → окуно → окно; ср. с осторожничающим Фасмером: «Праслав. *окъно -из *око*, ср. англ. window "окно", др.-исл. vindauga – то же, букв. "глаз ветра"», – что Викисловарь уверенно сводит к необъясняемому: «из *око глаз + *-ъно»). Т. е. установить уникальное единство формы и значения, которое и является постановом слова как цельного смыслозвука, которое образует, производит слово как таковое и впервые. Ни «влага», ни «река», как вариант имени собственного, а как раз мотивационное определение «Волга есть такой-то предмет с такой особенностью» (не обязательно в такой форме логически правильной дефиниции, допустим для примера бессмыслицу, «влажная река», – это и могло бы быть научной этимологией, если бы все остальные реки были сухими.

К сожалению, и определения этимологии, а тем более практика этимологии крайне редко приближаются к сути дела. В качестве нейтрального примера, не относящегося к этой теме, можно привести слово *невеста* с колоссальной, почти двухсотлетней историей научного этимологизирования, которая так или иначе отражена у Фасмера. Его предпочтение из этой истории по словообразовательной славянской очевидности: «Лучшей по-прежнему остается стар. этимология, которая видит здесь первонач. знач. "неизвестная" (см. не и ведать)... Табуистическое название должно было защитить женщину, вступающую в чужой для нее дом, дом ее жениха, от злых духов». Другую славянскую же очевидность, опровергаемую Фасмером, от вест- вести (< *neuo-ued-ta в противоположность < *ne-uoid-ta), предпочитает Ю.В. Откупщиков: «Невеста "новобрачная"... В семантическом аспекте д. – рус. водить жену полностью совпадает с лат. *uxorem ducere*... в литовском языке имеется слово *pauveda* = 'новобрачная', которое и в семантическом, и в словообразовательном (словосложение!) отношении самым убедительным образом подтверждает надежность этимологии» («Принципы этимологического анализа» // «Из истории индоевропейского словообразования». 2005 – <http://bookish.link/yazyiki-inostrannyie/istorii-indoeuropeyskogo-slovoobrazovaniya.html>). Нужно понять, что обе версии, почти равные со словообразовательной точки зрения, и равно вероятностные по разным семантическим обоснованиям (в первом случае по мифологическим, во втором – по компаративно-семанти-

ческим), всего лишь сообщают разные условные значения слова, а не мотивацию, и как раз поэтому они, как любые народные этимологии, произвольны, частью алогичны в житейском смысле, а частью не соответствуют всей парадигме ближайших значений: невесты – это и новобрачные, и добрачные, и повторно-потенциально брачные, которых не только не табуируют этим словом, а наоборот, детабуируют, маркируют их принадлежность к категории ещё небрачных, не познавших брака, не введённых в брак. Т. е. по сути это незнающие-неведающие, не прошедшие полностью брачную инициацию (молодые, глупые, непорочные, девственные, непоятые, очарованные). Но именно такова внутренняя форма слова. Невеста – исключительно в русском языке! – это не-вест-на(я) / не-вед-та(я), неведённая обрядом, небрачная ещё неведа, о которой к тому же неизвестно до брачной ночи, такая ли она неведа (с совершенно естественной из-за корневого чередования произносительной редукцией д): даже если в десятый раз невеста, всё равно не ведаёт, сохраняет наивность, надеется на брак, на более удачный инициационный ввод.

Мотивация сохраняет и обыгрывает древнее единство корня вед-, в котором равно актуально и значение «знать-познавать», и значение «вести-вводить». Какой резон изображать научность и объяснять абстракциями мифологии, статистикой соответствий и параллелей значений из других языков, когда нужно просто осознать (исключительно в рассматриваемом языке) целостную органику формы и смысла слова, как можно полнее и системнее описывающую реальное явление. Сбор всех возможных значений, указанных мотиваций, и актуализация всех возможных формантов, объясняемых из одной внутренней формы, произвольно (но не произвольно, а закономерно) соответствующей реальным событиям, и являются подлинными критериями надёжности этимологии. В этом развёрнутом жизнью единстве смыслозвука, читающегося исключительно в испыточном, проверяющем контексте жизни, даже одно слово является, по Бахтину, произведением речевого жанра. Первоначально слово-мотивация возникает в многократном пробном применении как сгущение жизненно-словесного контекста эпохи. Много позже контекст меняется, к формам и значениям примысливаются новшества: добавленные мотивации вызывают трансформацию формы. Первичные мотивации забываются, но сохраняются тайно в каких-то разных трансформациях-упаковках (некоторые из которых, изолировавшись в другом контексте, становятся нормами других языков: вот «неоведа» – новоприведённая-новобрачная, вот «не-вестна» – неизвестная, вот «невёста» – невыставленная на обозрение / невыстоявшая от соблазнов и т. п.). В конце концов слово осознаётся только по условным пользовательским значениям и употребляется по прежнему практическому опыту.

Найти в этих обстоятельствах этимологию – это и значит восстановить все прежние формы и значения в контексте исторической эпохи и конкретного речевого жанра, формулируя мотивирующее единство этих слова и эпохи. Бегло на нестрогих полуусловных примерах это будет так. Если судить исключительно по реальной логике событий, око-вно появилось тогда, когда стали строить жилье, в тёплом климате, но на основе пещерного ледникового опыта (око-отверстие для света может быть смысловозначительным только в полностью закрытом тёмном объёме, постоянно открытое отверстие возможно при сравнительно высокой температуре окружающей среды, в которой, однако нельзя выжить вне помещения). А невеста – когда стала важной наследственная чистота зачатия, когда люди уже сознательно культивировали род. Первое слово – произведение обустривающей речедеятельности (где дыра в жилье и как опознаётся), второе – произведение проверочной, инициационной (насколько суров обряд и насколько серьёзно воспринимается). Именно эти признаки в словах являются жанровыми основаниями анализа языковой ситуации и сравнения разных языков. Так, англ. окно window в системе самого языка мотивируется как «ветер-сквозь» (wind+down с учётом арх. row down / разг. просто row – шум, гам, гвалт, гул, где down забыто, не имеет значения) (дув, сквозняк без опознания причин, что бывает уже, как минимум, при двух дырах в пещере). Др.-

исл. *Vindauga* – скорее «ветроглаз», а не «глаз ветра» (дыра, ясно опознанная как причина ветра что сообщает о большем, чем в английском, понимании устройства помещения). А лат. *fenestra* – «колеблющее соломинку» (*feneus* сенный, соломенный, *traho* тянуть и *trachea* дыхательное горло) (лёгкий сквознячок, наблюдаемый на сенном ложе, т. е. внизу, или на сенном тюке у входа, «сено-дыра»: дыра в пещере одна). С учётом этих примеров и русское *окно* в первоначальном виде было *око-на*, просвет сверху, вентиляция-дымоход, что сообщает, в отличие от английского и латинского, и полное сознание факта, и, в отличие от них и др. исл., продуцируемость конструкции жилья. Первые отражают различные пользовательские сознания (самое архаичное английское, самое молодое – др. исл.) и разную реальную среду его обретения (холод в английском, тепло в латинском, темноту и холод в др. исландском), а русская мотивация сохраняет устанавливающее сознание (важнейшую особенность приспособляемого помещения), на основе чего и возможно любое из названных пользований. Если в литовском языке *невеста* мотивируется как нововведа, только что приведённая в семью, а в украинском как ещё не показавшая публично следы брачной инициации (вариант: ещё не признавшаяся в своём грехе), то ясно, что в украинском суровость и серьёзность обряда сохранены гораздо нагляднее, что указывает на более древнее образование слова. Русская мотивация полностью и безошибочно, по сути, научно, охватывает всю предметную зону ситуации «невеста». Если сравнить, то литовская мотивация является всего лишь одним из обиходных значений русского слова, украинская – добавленной мотивацией к основной русской мотивации. Всё это сообщает о том, что литовское и украинское слова возникали на материале русского слова в совершенно разных предметно-ценностных условиях (т. е. носители языка слышали русское слово, но в процессе пользования им переосмыслили в меру своего понимания и переоформили в меру своих произносительных способностей и по гиперкоррекции предметно-логической ситуации).

Наконец, все эти открываемые факты – совсем не то, чтобы, по жанру компаративистики, найти единую для разных языков надконтекстную форму и значение гипотетического межязыкового слова (например, трансформировать форму *window* к *оку*, хотя бы как *wind+auga*, а всех разномотивированных невест – к «не-вед»). Уже поэтому, из-за приблизительности и ложности компаративной методики и цели поиска, кажется, нет смысла разбирать, как на практике доказываются этимологические версии этой усечённой учёной наукой. Но нет другого способа сделать суть дела этимологии наглядной, кроме как показать её на фоне существующей практики.

Фасмер добавляет ещё для сведения и некоторые исторические именованья Волги. Птолемеевское *Ῥᾱ́*, морд. э. *Rav(o)* (с переключкой с авест. *Raṇhā*, др.-инд. *Rasā*, и выводением из индо-ир. **Sravā*: др.-инд. *sravā* «течение»), чув. *Atāl*, *Adyl*, тат. *Idyl*, казах. *Edil*, тат. *Kara Idyl* «Волга» и т. п. Итили.

Само собой, Фасмер в силу жанра энциклопедии проигнорировал довольно много общих сведений, точно относящихся к Волге, но не обязательно что и к слову. И это не единственная его личная избирательность. Не все согласны с Фасмером и по технике собственно фонетических соответствий. Так, оспариваемый им И.Ю. Миккола, выводил слово *Vylga* из реконструируемого древнемарийского **Jylga* вполне логично, по заверению В.Н. Топорова, который, однако, придерживался совсем другой, не упомянутой Фасмером балтской этимологии («Ещё раз о названии Волга» // «Языкознание. Литературоведение. История. История науки. К 80-летию С.Б. Бернштейна». М., 1991. С. 47–62 – http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1991_Studia_Slavica.pdf).

Ретрансляцию позиции Микколы см. у Ф.И. Гордеева: «В общепинно-угорское время оно (**jala*) выступало со значением «река», о чем свидетельствуют соответствия из родственных языков: коми-язьв. йула «река»; йула дорса «около реки», йу «река», мар. йу. Рассматриваемое нами слово **йала* подверглось определенным фонетическим изменениям: ф/у **йала* > йола > йула > йу. Данное слово является индоиранским заимствованием эпохи финно-

угорского языка-основы, сскр. Jala, вода» («О происхождении гидронима Волга» – <http://or.imja.name/statji/gordeev1969.html>).

Несмотря на эти частные расхождения суть классической компаративной избирательности одна и та же. Предполагаемый остов слова должен произойти либо из праязыка (общеславянского, индоевропейского, ностратического – в зависимости от стадии выведения), либо из другого языка – с видоизменённым заимствованием формы и со слегка смещённым значением. Идеальна тавтология, говоря на лингвистиковедческом жаргоне, происхождение путём онимизации чужого апеллятива, превращения нарицательного имени в собственное: слово Волга произошло из слова такого-то языка, которое значило «река». Когда онимизация случается внутри одного языка, это просто переосмысление. Никакое не происхождение слова, а другое его употребление (видовой термин становится ярлыком индивидного предмета: г. Орёл называется птицей, пусть даже по недоразумению, как омоним). Несомненно, связь с прежним употреблением может быть утрачена навсегда, если апеллятив исчез, а оним от него остался (было *доно*, остались *дно* и *Дон*). Именно поэтому внутри русского языка никакая река не может называться просто Рекой (только по какому-то казусу, вроде поручика Кижэ). Легче и быстрее всего утрата прежнего употребления случается, если прежним был другой язык. Но так слово не создаётся, а переносится в новый язык, т. е. переводится-транслитерируется (и только в такой степени трансформируется по звуку и смещается по смыслу): англ. tank-резервуар стал танком-машиной. Такое перемещение слов бывает только через кабинеты толмачей, а не в жизни. Но кабинетное перемещение никогда бы не стало фактом другого языка, если бы не было переноса в живую речь и полного забвения в ней английского значения и восприятия ранее английского слова как совсем иного. В жизни слова создаются на раз, по ходу дела, кстати к моменту из имеющихся запасов слов носителя языка и по опыту их понимания-применения. В любом случае, слово создаётся людьми по делу – подбирается по случаю уместный к смыслу дела суетный (повседневный, обычный, знакомый) звук. «Ставь сюда эту *херню* и бей этой *фигувиной!*» – тут процедура делания слова хорошо видна из-за его недоделанности, использования в качестве слова его ситуативного разового типового суррогата. В случае с танком, наоборот, вопреки норме обычного создания слова, из-за жанровых соображений секретности, специально подыскан алогичный звук, смысловой суррогат. И никак не подбирается из готовых, чужих или своих, словарей уместное к сути дела значение. Переход tank в танк из книжности в жизнь засвидетельствован по памяти и документально, поэтому и не вызывает сомнений, несмотря на полное несходство значений. Не будь такой житейской достоверности, слово можно было бы выводить с не меньшим основанием из таран, из г. Танк, из нем. Ding, из яп. танка и бог весть ещё откуда.

Именно так, по второй схеме, и делает чаще всего компаративистика, как и любая народная этимология. То, что считают происхождением слова компаративисты и что они изучают как этимологию, поиск транслитерированной исходной формы и уровня смещения её значения, – это не анализ спонтанного скока слов из уст людей, закрепляющегося от многократного скока в похожих ситуациях как происхождение, а учёное рассмотрение полуучёных заимствований слов из словаря. Они тоже бывают, но только в местах и временах интенсивного переводческого, книжного общения и только по правилам построения письма и по контакту двух орфографических систем. Эти факты занимают ничтожное место в жизни языка, не имеют внутри-системно-языкового характера и поэтому вовсе не определяют его начально-этимологических установок и развития, до широкого вовлечения в сферу письменности. Но только эти факты книжности считаются достоверным предметом науки, начиная с А. Шляхера (исключившего всё остальное из науки как неизвестную «предысторию языка»). Потому что только они, на ум этой науки, проявляют какой-то чёткий лингвистический порядок. Это фактическое заимствование толмачей (называемых народом), чтобы казаться кабинетным учёным соответствующим реальному происхождению слов, должно по их учёному рассмотрению проходить по

строгой фонетической закономерности, многочисленно представленной в книжных языковых параллелях и при очень небольшом смещении значения при переходе из языка в язык. Это может казаться даже нормальным, когда сравнивают старые книги. А в живых языках (которые к тому же невозможно изучить все, в отличие от древних книг) заранее не известно, имеют ли дело с живым словом или переводческим, вероятных языков-источников очень много, а путей физической передвижки одних звуков в другие ещё больше, поскольку в языке возможно всё. Вот почему в основе любой академической гипотезы всегда лежит первопричинный (порождающий живые факты и объясняющий их) приоритет древних текстов, т. е. установка «научного» предпочтения переводческих фактов, а в её рамках разрешено и индивидуальное ощущение и мнительность конкретного кабинетного исследователя по каждому из этих допусков.

Даже по одному этому принципу многоэтажной избирательности, фонетически строгой, с тавтологическим значением и допустимой лишь по усмотрению персоны, но из заранее заданного списка вариантов, невозможно считать такие упражнения научными. Тогда нужно признать наукой и по-своему последовательные выкладки А.И. Сомсикова (предупреждаю, что мой конспект несколько усиливает произвольность суждений, но несколько не меняет самого детского пафоса интуиции): «ГАНГА=ГА-НГА. Нетрудно догадаться, что здесь обычное сокращение или «редукция», образованная повторением двух одинаковых слов НГА-НГА. Простое обозначение множественности посредством удвоения. А значит, ГАНГА есть просто БОЛЬШАЯ НГА....ВЕЛИКАЯ река Индии. Остается найти этимологию исходного слова НГА. Несложно предположить, что это тоже редукция исходного и не чего-нибудь, а именно русского слова НОГА....Означает, вероятно, просто ПОДНОЖНАЯ. Поскольку ГАНГ вытекает из Гималаев и течет у их подножия. По-русски, мы бы скорее сказали «Подгорная»... ВОЛ-ГА=ВОЛГА. Второй слог дает уже знакомое слово – ГА, означающее ниспадающее (падающее вниз) движение. А первый дает известное русское слово ВОЛ-Я, означающее свободу... Наименование Волга означает ВОЛЬНО (беспрепятственно) ТЕКУЩАЯ (ниспадающая). А обозначение ВЕЛИКАЯ тоже используется, но уже отдельно, а не в составе самого наименования» («ВОЛГА и ГАНГ. Проблемы этимологии» – <http://www.sciteclibrary.ru/texts/rus/stat/st5812.pdf>).

Как видим, и тут названия рек – простые субституции нарицания воды, и тут закономерные редукции-передвижки звуков, и тут минимум смещения значений. Почему же Сомсиков не котируется как большой учёный? Потому что весь его произвол уникален, единичен, не согласован со столетним опытом и списком допущений профессиональных словолюбителей. Почему читается [ганга], а не [гэнга, ханха, кханкха] и т. п., почему вдруг га=нога, почему нога означает подножную, почему вол – означает волю, а не быка, почему нога сдвинулось в нга-га, а волянога в волга – это всё установлено и выведено только по личным ассоциациям. Это всё личные фантазии, индивидуальная мифология.

В отличие от этого академическая компаративистика принимает в расчёт только конвенционально выверенные (по древним и современным документам, по словарям с условно установленными тождествами записи и звучания слов, морфологических и логических значений), традиционные отложения фонетических и смысловых передвижек. Учитывая все сложности с конвенциями, выверенностью методик и мнений, достоверностью памятников и их фонетических озвучек, условностью словарей и произносительных прочтений, понятно, что академическая наука имеет дело с научными установлениями по коллективным установкам, по вере. Отсюда и характерный задор наивных компаративистов. И.Н. Рассоха: «Если я не верю в существование индоевропейской семьи языков, то я вообще не ученый» («Прародина Русов» – http://www.tinlib.ru/istorija/prarodina_rusov/p1.php). Нужно обязательно помнить, зная о существовании других учёных, методик, памятников и т. д., что и установления не единственны и не вечны, и коллективные установки не только не лучше, но хуже индивидуальных, поскольку они не замечаются ни самим, ни другим индивидом. Фосслер: «Рассматривать язык с точки зре-

ния установлений и правил – значит рассматривать его ненаучно» («Позитивизм и идеализм в языкознании» // Эстетический идеализм. М., 2007, с. 33, доступный вариант см. в хрестоматии В.А. Звегинцева). На практике – это чистые предустановления как раз в виде списка допустимых передвижек, под которые нужно лишь подогнать конкретные полевые факты. Подгонка делается путём статистического обследования избранной предметной зоны, отбора согласующихся с предустановлениями фактов и переинтерпретации несогласующихся, т. е. в таком их изменении, чтобы они согласовались. Так, Миккола не только находит нужную трансформацию финно-угорского ja в ju, а потом в wi, но и объясняет эти компаративно несвойственные северянам трансформации в славян древними влияниями ираноязычных южан, из которых как раз славянорусы компаративно-успешно и вышли. Именно в области переинтерпретации несогласующихся фактов допускается максимальная свобода мысли для учёного. Однако на примере Микколы хорошо видно, что это свобода в очень узких пределах. Хоть из праславянского, хоть из финского, хоть из нганожного взята этимология, а всё равно – вода.

Таким образом, классическая этимология выводит только то, что знает заранее, жёстко закреплённые факты прежних учёных мифологий (свидетелей, составителей, переводчиков, историков и т. д.), и крайне редко демонстрирует уникальные идеи, размышления, логику. Стоит ли удивляться, что все решения заданы и что они заведомо, ещё до обсуждения фактов, по первичным научным основаниям и свидетельствам, ошибочны. Тогда как критерий неопытной жизненной установки прост. Река Волга течёт по России, имеет русское имя с незапамятных для нас времён, поэтому самым верным жизненным, не теоретическим основанием для **начала** должно быть заведомое предпочтение русскоязычной этимологии, а не какой-то другой. Не той, которую могут предпочитать теоретики по общепринятым компаративным дивергентным выводам из праязыка, соответствующим общепринятым историко-археологическим данным, которые, однако, интерпретируются, становятся общепонятными данными именно по этой, только ещё подкрепляемой историками дивергентной теории. К сожалению, никого не смущает логический круг, очень похожий на фокус Мюнхгаузена, самого себя вытаскивающего из болота. Более того, это кажется научным достоинством. Откупщиков: «В качестве основных методов проверки правильности той или иной этимологии уже давно и успешно применяются фонетический, словообразовательный и семантический критерии. Причем важно отметить, что каждый из них... фактически используется не только как метод проверки, но и как отправной пункт этимологического исследования» (там же). Что же говорить об историках, наивно доверяющих таким лингвистам? Б.А. Рыбаков: «В научном поиске древнейших судеб славянства первое место принадлежит лингвистике», умозрительно определившей ландшафт проживания, соседей, время размежевания («Рождение Руси». М., 2003 – http://lib.ru/HISTORY/RUBAKOW_B_A/russ.txt).

Примером такой идеально-умеренной компаративной работы является книга В.Н. Топорова и О.Н. Трубачёва «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Днепра». М., 1962. По сути, это сводка их знаний, систематизированная статистика обработанных данных на основе прямо заявляемой предустановленности видения «по общим соображениям». Вот несколько цитат, из которых это ясно. «Речь может идти прежде всего о балтийском, финском и славянском языковом элементе», другие «нецелесообразны»: хоть они и «допустимы», но «неясны» (с. 19). «Славянский элемент здесь является пришлым» (с. 20). «Наличие в балтийских названиях вод ряда корней, близких к славянским и легко входивших в ряд славянских наименований, также чрезвычайно затрудняет выявление балтийского элемента, присутствие которого, однако, можно подозревать в ряде случаев на основании более общих соображений» (с. 21).

Реально исследование сводится к более точной локализации элементов, в установлении временных и пространственных границ зоны разных влияний: ираноязычных с юга, финских с

северо-востока, балтских с запада – с сер. 1 тыс. до н. э. и к моменту образования восточнославянской идентичности, т. е. до времени летописных свидетельств. Это делается по очень простой схеме. Приводятся истоки слова из того или иного языка, подходящего по предварительным общим соображениям. (Впрочем, это не исключает добросовестности и объективизма в конкретных случаях: «Суффикс -уга в верхнеднепровской гидронимии неоднозначен по происхождению: он имеет не один источник на балтийской почве... и, кроме того, может быть славянским», с. 157). «Определяя балтийское происхождение того или иного верхнеднепровского гидронима, мы уже исходим из факта наличия соответствующего корня в литовском, латышском или древнепрусском языках» (с. 174). Этимология считается правильной по самоочевидности. Вот несколько примеров. Каменная Осмонька из иран. *asman*, камень. Бержа – лит. *berze*, береза. Балгучка, Болгача – от лтш. *balga*, река, Волка – от лит. *valka*, река, лтш. *valka*, текущий ручей, заболоченное место. На самом деле слова не выглядят настолько уж иноземными. Осмонька может быть и от осемь (восемь камней), и от осмонить, по Далю (т. е. обтереть, обточить камни). А почему Бержа – это не бережа, берегущая, или не берега какие-то выдающиеся? А почему Болгача не от болгача-булгача, по Далю (булгачить – тревожить, беспокоить, баламутить), а Волка не от волка-во́лока или вольхи-ольхи? Понятно почему. Потому что русских этимологий по общим компаративным соображениям и по отсутствию русских слов в древних источниках для этой эпохи быть не может. Эти «пласты» толкований в словах заранее не принимаются в расчёт. Процедура предпочтения не показана в деталях, фактический лингвистический анализ немотивирован и остаётся за кадром (но это и есть суть компаративной аллюзивной, по логике, и авторитетно-доверительной, по статусу, мотивировки). Предъявлен только его результат.

Несмотря на колоссальную лингвистическо-статистическую работу и ещё большую научную обработку общих соображений, это никакая не филологическая наука, а простое дознание. Юридическое установление предпочтительных фактов и законодательное предписание их статуса. Так действует, по выражению Фосслера, «господин материала и господин созданных им самим понятий». При этом очень заметно, что собственные натяжки вполне ожидаются, поскольку авторы понимают, как их обойти. «В ряде случаев для установления более авторитетной формы и для правильной её интерпретации полезно выйти за пределы лингвистических аргументов и обратиться к сведениям о характере рельефа местности, почвы, русла реки» и т. п., чтобы избежать «широкие возможности народной этимологизации» (с. 18).

Нет, это нужно делать не в ряде случаев, а всегда. **Любая** этимология является народной, если не соотнесена с реальными житейскими обстоятельствами возникновения слова, мотивирующими разворот форм к нужному смыслу. Могли ли древние наивные люди назвать реку словом «иволга» или «нога», или даже «река», заимствовав и преобразив лит. *valka* или морд. йулга? Конечно. Но могли – не значит назвали. По самой форме и значению слова или их отношениям со словами других языков это никак не выяснить. Т. е. по разнообразной фонетической, словообразовательной и семантической статистике (которую, отсылаю для наглядности, как критерий и принцип работы заявляет Откупщиков и многократно её иллюстрирует) никак не установить, как жили и что делали люди в далёком прошлом, как они думали и почему применяли какие-то формы для каких-то значений. Так что результаты таких компаративно-статистических трудов не способствуют строгим научным выводам. Это ясно прежде всего тем, кто нуждается в помощи лингвистики, хотя бы археологам. М.Б. Шукин постоянно выступает против «чар балтийства», «чар славянства» и т. п.: «Когда О.Н. Трубачев (1968) и Я. Удольф (1979) находят скопления раннеславянских топонимов на западной Украине и в Прикарпатье, это не означает, что именно здесь протекал процесс славянского этногенеза. Ситуация, очевидно, была более сложной» («Рождение славян» – www.archaeology.ru/Download/Shchukin/Shchukin_1997_Rozhdenie_slavyan.pdf). Выход из предустановленности один – уйти от чисто лингвистической статистики и заняться лингвистическими фактами в связи со всеми реаль-

ными (топографическими, климатическими, историографическими, техническими, ремесленными, юридическими, медицинскими) событиями и логикой естественных процессов мысли (не учёных, хоть исторических, хоть археологических, не предустановленных, а реальных, народных, лишь косвенно задокументированных в источниках и фактах). Это совсем не то, что мыслит со своей позиции Щукин: нужно «привлекать данные других наук – лингвистики и истории. Причем в каждой из научных областей исследование должно вестись самостоятельно, без оглядки на данные иных наук, сопоставляться, для чистоты эксперимента, должны лишь результаты исследований». Нет, каждая научная область разрабатывается по своей установке. Нужно начинать с неустановленного – восстанавливать всю реальную историю в напластованиях смыслов в каждом слове, т. е. последовательно рассматривать сохранившуюся в мотивациях органически-неизбежную, с виду фантомную естественно-необходимую историю людей (это имеет некоторое отношение к традиции, которую обосновывали А. Пикте, Г. Шухардт, Н.В. Крушевский, Н.Я. Марр и др., чаще всего называемой ими лингвистической археологией или палеонтологией). И лишь после такой глубокой переработки каждого словесного факта можно заниматься статистической сводкой всех, образуя как лингвистическую, так и историческую картину.

Было бы несправедливо считать, что Топоров и Трубачёв полностью зациклены лишь на традиционно-умеренной компаративной этимологической работе. Это, по сути было лишь их началом. Позже они, каждый по-своему, далеко продвинулись по пути более реальной этимологии. Трубачёв разрабатывал на практике и в теории принципы семантической реконструкции, «восстановления древнего значения слова», в том числе в связи со средствами этимологии. Основной принцип изменений в семантике – переосмысление. «Семантической реконструкцией в полном смысле нельзя считать бесхитростную транспозицию засвидетельствованных значений слов отдельных... языков... Вместо реконструкции мы получаем неэкономную тавтологию». «Углубленное понимание значения есть, по нашему убеждению, уже тем самым его реконструкция, а в этом деле нельзя обойтись без этимологии». «Приемы семантической реконструкции – это хорошая эмпирия (правильное описание значений и употреблений слов) плюс неизменный здравый смысл (готовность к пониманию специфики воссоздаваемой эволюции значения без анахронистических атрибуций современных воззрений древним эпохам) и плюс компетентность в типологии формирования близких значений в разных языках, и все это – на фоне прочного знания формально-этимологических приемов или принципов, за которыми должны стоять вся сравнительная грамматика и все общее языкознание» («Приемы семантической реконструкции» // «Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции». М., 1988. С. 197–222 – <http://www.durov.com/linguistics1/trubachev-88.htm>). Тем не менее Трубачёв, несмотря на самые смелые места, в переинтерпретациях, отлёты фантазии, несколько не отступил от базовых компаративных принципов.

Топоров в каждом отдельном случае стремился создать целостную систему научных представлений как о самом научном разделе, так и о любом конкретном предмете. Как намёк на его общие идеи в области этимологии вот несколько цитат. «При бесспорно ведущем положении этимологии как отрасли сравнительно-исторического языкознания, общая картина будет неполной при игнорировании младших братьев этой „научной“ этимологии, остающихся непризнанными ею („народная“ этимология, к которой, кстати, нередко соскальзывают... и представители „научной“ этимологии; „мифопоэтическая“ и „онтологическая“ этимология и др.)». «Понятие окончательной (абсолютной, единственное правильной) этимологии для целого класса слов является иллюзией... Пройти всю толщу мыслимой семантической плоти и тем самым создать более полное пространство для более адекватных этимологических решений, сумма которых описывает реальное или потенциальное единство» («О некоторых теоретических аспектах этимологии» // «Этимология». М., 1986. С. 205–211 – <http://philology.ru/>

linguistics1/toporov-86.htm). «Этимология пока, строго говоря, не может полностью уложиться в рамки только языкознания... Обладая определенными познаниями в культурно-исторической сфере, мы при этимологическом исследовании слов, имеющих отношение к этой сфере, строим возможные модели образования значения этих слов, исходя из исторических данных, а затем проверяем эти модели на собственно лингвистическом материале; и эта проверка является как раз решающим критерием истинности этимологии» («О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа» // «Исследования по этимологии и семантике». Т. I. М., 2004. С. 19–40 – <http://www.philology.ru/linguistics1/toporov-04.htm>).

На тему Волги будет уместно рассмотреть, какую именно более реальную этимологию нашёл Топоров и как он это сделал. Имеется в виду упомянутая статья «Ещё раз о названии Волга». После обсуждения фасмеровских вариантов Топоров предлагает как свое прочувствованное предпочтение идею Н.С. Трубецкого, которая в своё время не была пропущена Фасмером в печать. «Трубецкой считал название Волга балтийским (ср. лит. *lpgas*, долгий), начальное *il* в восточнославянском должно измениться в *ul* с протейческим *w*». По смыслу эта этимология «неожиданна»: «долгими... в балтославянском ареале не называют ... реки», ни длинные, ни очень длинные. Но технически, по звукопередвижкам, и исторически балтская этимология вполне естественна. «Балты появились здесь намного ранее славян», «с середины 2 тыс. до нашей эры». Все названия крупных рек из этой зоны «в русском языке заимствованы ... название Волги основательно перестроено, отчасти переосмыслено и глубоко пережито языком». «В первый период после прихода сюда раннеславянского материала на этой территории скорее всего существовал своего рода балто-славянский культурно-языковой симбиоз».

После этих авторитетных предустановлений и удобной статистики, подтверждающей массовость балтского элемента, Топоров переходит к реальному обоснованию. «Решение проблемы первоначальной объектной отнесённости названия Волга», т. е. что, собственно, следует на местности называть Волгой. «Стоит напомнить гидроструктуру нынешней Волги». Парадокс с самого начала: исток реки, по науке, должен быть не там, где считается народом по традиции. Если пропустить детали, Топоров показывает, что верховья «ненаучно назначенной» Волги представляют собой вереницу озёр, связанных ручьями и протоками, длиной около 100 вёрст, явно ледникового происхождения, где лишь после оз. Волго и следующей за ним плотины, бейшлота, по сути, и возникает река Волга. «Самое любопытное, что позднее... искусственное техническое гидросооружение, по сути дела...восстанавливает ту ситуацию, которая характеризовала гидроструктуру этого микроареала... в прошлом, когда как следствие таяния ледника уровень вод здесь был несравненно выше». По руслу Волги существовало «длинное» «склеенное» озеро. «Именно это озеро и было тем гидрообъектом, к которому первоначально было приложено название с корнем Волг-». «Название Волга является, по сути, производным от названия Волго». «Распространение названия Волга и на предшествующую озеру Волго часть реки... произошло существенно позже... в качестве восполнения и расширения». «Начавшееся позже расчленение единого «долгого» озера привело к дифференциации его частей и их новому называнию. Прежний объём названия Волго сузился до теперешнего озера». «Долгие» озёра составляют распространенный тип как на славянских территориях, так и в балтийском ареале». Перенос названия на низовья, вплоть до устья, предполагается сам собой и не детализируется.

Несомненно, что по топографическим и психологическим деталям, т. е. по привязке к местности и к естественным ходам мысли называющих людей, эта обоснование представляется безукоризненным. Но очевидно, что это ни в коей мере не «лингвистический анализ гидронимов», не «мифопоэтическая», а в некоторой степени житейски-«онтологическая» этимология – самое что ни на есть дотошное исследование реалий, вещей, сопричастных с ключевым словом – с русским, а не балтским. Более того, точно назвав прообраз и изменения словесной формы (но не обосновав в деталях, хотя бы в качестве контекста к Фасмеру, как именно *lpgas*

стал Волго, а то – Волга), Топоров не даёт и определения нового этимона, того нового значения, какое именно в исходное значение «озёрной долгости» добавил русский язык уже после «симбиоза» с балтами. Следует сформулировать это «пережитое», раз уж академический лингвист так чурается лингвистики.

Верхняя Волга выглядит в реальности как водная цепь, вологая вереница, верёя водовзёмов-водоёмов, сволок в один волгоём нескольких «озёр» – влагохранилищ, полуискусственно сделанных, частью ледником, частью людьми – как регулируемая плотина и как их важный, сознательный выбор (истока и русла реки, места, цели и конструкции верей-бейшлота как рычага-ваги взвешивания-важенья и перенаправления объёмов воды, вызвавших, однако, дополнительное заболачивание и деградацию верховий). По лексическим смыслам это долгая проводка воды, текущей, волочащейся то по камням, то по болоту, то по разливу. Воложная (увлажняющая, вальжно-растекающаяся и застаивающаяся воложка-старица, воложистая-лоснящаяся от избытка рыбы, сподобной для очень воложной ухи) и важная (важная провоженная и провожёная, проведённая и наводнённая, т. е. во всех смыслах, в том числе от гл. важить, по Далю) проволочка. Как-то, под влиянием прочувствованных Топоровым наблюдений, сам собой подобрался мотивирующий набор текущих друг в друга, почти однокоренных, типично русских слов.

Удивительно, что содержание пережитого языком касается не только предпочтённой Топоровым эпохи, пусть даже считая с «балто-славянского симбиоза» (даже с середины 2 тыс. до н. э.). Русским словом и его коннотациями схвачена очень долгая история, начиная с ледникового. Неужто, долга цепь «озёр» не потому, что длинна, а потому что очень долго по времени формировалась (тогда при чём тут балтское длинное озеро)? Разливы, пересыхания и волоки в Верховьях случались от веку, сколько там жили люди (финны, балты ли). Бейшлот же впервые был построен в 1843 г. А негативные последствия от него проявились системно только к концу прошлого века. Всё это время люди вынужденно приспосабливались к условиям, боролись с напастями, преодолевали сушь и хлябь. Только в местных условиях и только у тех народов, кто жил там очень долго, могло сформироваться установленное значение слова Волга. Показательно, что во всех значениях реальной Волги (обобщая: вологий, отмеренный, сволочённый) компаративно предпочитаемые значения влаги, реки, длины присутствуют только косвенно, попутно, не касаются сути дела. И настолько же реальное значение должно быть отложенным и стойким, что оно не только, не изменяясь, распространилось на всю Волгу, но и на неведомую 1000 лет назад будущую историю.

Получается, что русское слово появилось намного раньше, чем в него было вжито его русское содержание? Как это возможно? Может, оно было перенято, заимствовано с тем же содержанием от неведомых предшественников – финнов ли, балтов, праславян, иранцев? Но ведь уже понятно, что балтское слово подходит к значению нашего слова отнюдь не по фактам, дотошно собранным Топоровым, а только по заданной аллюзии его учёного понимания: слово подходит к фактам по аллюзии наблюдателя, но факты по своей сути никак не укладываются в это балтское слово. Топоров правильно обосновывает сам способ народно-этимологического названия реки по конкретике местных и исторических обстоятельств (в истории тысячелетий обобщающихся до онтологии). Но выбирает название реки по лингвистически и историографически заданным обстоятельствам, мотивируя только заданность и только топонимической статистикой. И странным образом (аллюзивно) считает, что его верное обоснование логики выбора названия народом является обоснованием его же учёного выбора названия (даже не логики выбора). Элементарная, но бессмысленная подмена предмета. Связана она с совершенно ложным приложением с виду точных теоретических рассуждений об этимологии к практике этимологии.

Методологически Топоров верно действует по установкам теоретической науки (познаёт живую языковую реальность), а методически – наивно воспроизводит установления компара-

тивистики (комбинирует документированные, «реальные» языки). Такой безграмотный разноречивый возможен только из-за нецельного научного сознания.

Вот почему стоит сформулировать проблему этимологии слова «Волга» логично и решительно, пытаясь обосновать как раз выбор народа, а не учёную путаницу. Слова не создаются учёными, тем более, что их в эпоху создания слова Волга не было. Либо слово тогда создали носители русского языка, существовавшего с незапамятных времен и до сих пор. Либо это были другие народы, от кого русские весьма осмысленно (!), раз уж не исказили, переняли их опыт и готовые слова, но которые канули неизвестно куда (а их оставшиеся прямые потомки исказили свои слова и смыслы до полной неузнаваемости).

По общепринятым данным ираноязычные народы в верховьях Волги никогда не жили. А праславяне – это всё-таки фантом, реконструкт. Даже некоторые классические компаративисты, вроде А. Мейе, сомневаются, что праславяне были в установленной реконструкциями виде. Можно посмотреть на соответствующие по значениям «воложной волоке» слова балтов и финнов. Отчасти они уже фигурировали: лтш. *valgs* влажный, *vīlkt* волочить, лит. *válgyti* есть, *vīlgyti* мочить, *vīlkti* волочить, *valkata* бродяга, фин. *pahkea* сырой, влажный, кожистый, жёсткий, *kostea* сырой, влажный, *vetinen* водянистый, мокрый, сырой, *märkä* сырой, гной (мед.), *haalata* тянуть, тащить, волочить, *laahata* волочить, тащить.

Элементарный лингвистический анализ.

По звуковой и буквенной материи корреляции русских и балтских форм прямые и очевидны, что детально описано компаративистикой. Однако сам по себе, в своей системе, пучок балтских слов совсем не имеет той целостной, однословной протейической текучести форм, выражающих ещё большую цельность и текучесть значений, как это есть в русском языке. И уже поэтому ясно, что если заимствование и было, то прямо обратное – от русской смысло-звуковой системности с последующим её распадом. И эта распавшаяся путём переосмысления системность легко обнаруживается с помощью речевого эксперимента вычитки русских звуков из балтских букв, если учитывать обычные корреляции. Например: *válgyti*-(в)алкать (хотеть есть), *vīlgyti*-вёлкать (мочить-макать, болтая и поддавливая), *vīlkti*-волокти-влекти, *valkata*-волоката (помощник на волоке). Очевидно, что наоборот смоделировать не получится. Если пойти от значений, например, *vīlgyti*, мочить, то в русском даже не подберётся ряд сходных по значению словоформ: все какие-то некстати вилкать, войкать, вылагать, влагать и т. п.

С финским нет ничего очевидного, звуковые переключки ощущаются только на уровне произвольных поэтических аллюзий: *vetinen* – водин(ый), а *märkä* – мярзка. Но в целом это совершенно другая системная материя звука, которая никак не могла быть перенята без изменений – ни в русский язык из финского, ни, наоборот, в финский из русского. Тем не менее, по речевому эксперименту произвести из *haalata* волочить (ваалатча-волочти) гораздо сложнее, чем из волочить-волочта *haalata*: в первом случае нужно допустить невероятный переход выдоха *h* в более трудную, другую по месту образования, губную преграду *w*, а во втором достаточно допустить ненапряжённое, предельно вялое произношение звука *w*, скрытого за ударным гласным.

Следует подчеркнуть, что эти эксперименты ни в коем случае не являются ни этимологиями, ни типологиями, ни определениями. Это сравнение звуковой материи и уяснение по её физическому строю, какое звуковое образование является более сложным и развитым и какое больше приспособлено для выражения того или другого представленного ими значения. Это сравнение акцентов, по Фосслеру: не только акцентов произношения, но и акцентов, упоров осмысления и переосмысления. Так в ботанико-остеологическом подходе можно сравнить лист дуба и лист петрушки, заметить морфологические особенности, сообщающие не только о различиях физических параметров, но и об относительной сложности, древности, величине, жизнестойкости и т. д. каждого из растений. Лист травы разительно уступает листу дуба по числу параметров, за каждым из которых тысячи миллионнолетних приспособлений, мутаций,

плавных и скачкообразных превращений. А трава все эти миллионы лет развивалась почти без изменений, вне времени – не накапливая и не отражая реальный хронотоп. Подобно этому и опытное, естественнонаучное сравнение слов до всяких симпатий, предпочтений, выводов и теорий.

Ещё более сомнительны компаративные установки, если сравнить системную семантику, типологические зоны, в одну из которых встроено и значение русского слова. В определение-мотивацию названия Волги, т. е. в «правильно описанное значение», по словам Трубачёва, попало много чего, и впрямь пережитого языком. Т. е. пережитого людьми в результате их освоения местности и отложенного в язык. Балтской «озёрности» (как и различной элементарной «речности»: мар. *jul*-река, лтш. *balga*-река, лит. *valka*-река, башк. *йылга*-река) нет и в помине, а «длина-долгость» – явно умозрительный признак, с некоторым усилием абстрагируемый от конкретной проволоочки. Несколько более конкретным, но всё равно абстрактным по сравнению с предметом-действием «проволока» (и с оценочным свойством «важная-взвешенная»), является и признак «влажности». Поскольку абстрактные признаки предмета или его умозрительные обобщения (вроде «озеро» – вообще, «река» – вообще) всегда выделяются для сознания позже, чем сам предмет в неразличённом единстве признаков и свойств, то совершенно непонятно, почему русское слово с конкретным значением могло родиться (не заимствоваться!) из балтского или симбиозного (или праславянского, **вълга*) с абстрактным значением, относящимся к той же зоне предметности (не может «лужа» образоваться от «водоём» – только наоборот). Само собой, эту «онтологическую этимологию» (Топоров) как аргумент может принять только тот, кто изучал отношения понятий по содержанию и объёму (в формальной логике), фило- и онтогенез форм мышления (в феноменологии, психологии) и знает эти тонкие факты как естественный закон.

Не стоит принимать за семантический анализ семантическую статистику. Показательны тут наблюдения А.А. Тютяева, казалось бы, за органикой русских формантов в статье «Этимология топонима Волга (и значение связанных слов)» – <http://www.organizmica.org/archive/808/etv.shtml>. Хотелось бы дать её конспект, чтобы продемонстрировать пафос предустановленных речений, гораздо более агрессивный, чем у классических компаративистов. Но статья довольно велика и не имеет никакой логики выведения, чтобы её цитировать дотошно. Поэтому ограничиваюсь только сводкой привлечённых автором концептов.

«В словарях представлены различные варианты этимологии этой реки... Но все они ничего общего не имеют ни с русским языком, ни с русской культурой, а привязаны к народам, никогда даже не приходившим на русскую землю... В названии Волги применён русский суффикс размерности – ГА. Он показывает, что Волга – самая крупная на Русской равнине река. И, следовательно, в гидрониме Волга имеем корень ВОЛ(о)... Никакого «праславянского» языка не существовало, поскольку не существовало и такого этноса. Более того, западные языки, такие как чешский и польский, являются ответвлениями русского языка, состоявшимися в глубокой древности... Гидронимы, образованные непосредственно от имени реки Волги... Поволожье... ВОЛОЖКА – всякий из множества боковых рукавов, протоков Волги, образующих острова, а со временем старицы и ерики... ВОЛОША – пролив, связь двух речек проливом, рукавом, между тем как оба устья речек идут до моря, а прилив и отлив образуют течение, то вверх, то вниз; в отлив, волоша нередко пересыхает...

Слово ВОЛГА не связано с влагой... Название ВОЛГА связано с ВОЛОЧИТЬ, волокты, волочь, волок, проволока и т. п., то есть с тем, что протянулось на какое-либо расстояние или вдоль чего-либо... ВОЛОГА – это всё-таки влага, вода, жидкость, но... ВОЛОГА – это связь с едой... с жирением... ВОЛОГА (овца) также даёт и ВОЛНУ (шерсть)... ВОЛОСЕНЬ – долгая овечья шерсть, для пряжи... Корень -ВОЛ- более тяготеет к обозначению размерности: протяжённости, толщины, величины. Да и само слово ВОЛ обозначает кастрированного самца

домашнего крупного скота, который в силу этого вырастает более крупным, то есть ВОЛГ-ЛЫМ...

Мы приходим к рассмотрению этимологий людей... ВОЛГАРЬ... по всей Руси распространены термины, образованные от корня -ВОЛ-, и они никак не связаны с Волгой. И эти термины раскрывают, в том числе, и характеристики волгарей, как народа. Например, ВОЛДАТ, ВОЛДЫГА, ВОЛЫНЕЦ, ВОЛЬГАК – рязанское и другое СВОЕВОЛЬНИК, ВОЛЬНИЦА. Сюда же относится, якобы, французское ВОЛОНТЕР ... Они однокоренные слову ВОЛЯ... ВОЛОПЁР – рослый и дюжий, но ленивый человек. ВОЛОТ – (от «волость» – могут, сила) гигант, великан, могучан... Лат. VULGUS – народ, народная масса; масса, множество; стадо... Упор нужно делать на ту сторону этимологии термина ВОЛГА, которая говорит о массе – массе людей или массе воды... Лат. VULGARI значит «смешиваться, общаться, сходиться» или «торговать своим телом». В. Даль: арханг. БОЛДЫРЬ – ... метис русского с монголоидной женщиной... Фасмер: древнетюркское bulγar «смешанного происхождения, метис» от bulγamak «мешать». И от этого произошло название БУЛГАР – болгарин... Термин БАЛТЫ, балтийцы, Балтийское море... Скорее всего, привязка корня БАЛТ, как названия пояса, связана со словом БОЛТАТЬСЯ, или лат. blatero – болтать... БОЛДЫРЯМИ, БАЛТАМИ, ВОЛГАРЯМИ, БУЛГАРАМИ именуются люди, жившие на границе руссов с монголоидами и другими неродственными руссам народами, люди, смешавшие – ВЗБОЛТАВШИЕ – свою кровь с монголоидами, то есть метисы... В Прибалтийских странах велика доля гаплогруппы N – гаплогруппа монголоидов Северного Китая (т. н. финноугры) [Клёсов, Тюняев, 2010]. Таким образом, балтийское море – это море Болдырей, то есть метисов, которые расселились на его берегах.

Бог ВОЛОС и ВЛАСТЬ... Wales. В самой же Руси бог Велес известен со времени верхнего палеолита [Рыбаков, 1981]... ВОЛОСТЬ – старое «власть, правительственная сила», а также «область, край, часть земли, государства во владении одного лица; удел княжеский»... ВЕЛЕС или ВОЛОС, трансформированные позже на востоке в Ваала или Баала, в первоначальную свою пору имели драконический облик... сарматы, древнее население восточно-европейской низменности – от Балтийского моря до Волги. Эту ВОЛОСТЬ мы и рассмотрели...

Название реки ВОЛГА происходит от первого значения – ВЕЛИКАЯ (большая), ВОЛГЛАЯ (многоводная), ВАЛ (дракон, змея), ВОЛЬНАЯ, ВОЛОЧАЩАЯСЯ (пролегающая) на всю русскую ВОЛОСТЬ (землю) ВОЛНА (вода). Скорее всего, имя Волги имеет именно такое значение, в то время как названия однокоренных поселений и водоёмов связаны с каким-либо отдельным значением богатой семантики древнерусского корня -ВОЛ-».

Несмотря на то, что многие догадки кажутся очень верными (Волга – от волока; волгари, балты, болгары – метисы с русью на границах зоны их проживания), поражает необоснованность подвёрстывания примеров вкупе с методической несистемностью семантических наблюдений и элементарной методологической неграмотностью, основанной на наивном повторении словообразовательных канонов компаративистики. Самое простое, в слове Волга выделяется суффикс -га. Не думаю, что нужно напоминать школьные определения суффикса, абсолютно формальные и поэтому идеальные для избежания путаницы. С точки зрения статистики современного русского употребления, в слове Волга никакого суффикса нет. Рекомендую в простых случаях пользоваться «Грамматическим словарём русского языка» А.А. Зализняка (повторяемым Викисловарём). По строению слова корень волг/ж и окончание. Это выясняется при сличении двух парадигм: склонения (Волг-е, Волг-ой, Волг-и) и словообразования (волж-ск-ий, волг-ар-ям).

Наряду с этим в языке имеются другие корни: волок-а / волоч-и-ть / влач-и-ть, затем волог-а / влаг-а / влаж-н-ый и непродуктивный корень с фрикативным г волоу-чанин=волож-анин / волоу (волог – старое название жителя Вологды, волоко-деи; по возможности корня, это работник волока (из волок-у, ср. волоко-деич / волого-дец), как и бурлак позже; волокги,

вологи -живущие вдоль Волги волгари; реликты только в именах собственных: Вологда, Вологин, волох; суффикс -дея-/-де-/-д- как раз очень продуктивен: благо-дея-ние, благо-де-тель, еда, прав-да, гни-да). Родство этих слов с волг- интуитивно чувствуется, но может быть и оспорено. Первый тип родства косвенно допускается версией Трубецкого-Топорова, второй – версией Фасмера, третий – чаще всего не замечается, но в замечаемом виде академическими специалистами оспаривается (тем же Фасмером, см. «Вологда»). Тогда в первом случае можно допускать исторический суффикс -к-/-ч-, во втором-третьем -г-/-ж-/-ү-. И сейчас такие суффиксы сохранились в некоторых зонах словообразования: запис-к-а, пис-ч-ий, нудь-г-а, прода-ж-а, бог-үа (рядом с бог-а). Третье дело, когда мы сличаем парадигмы разных корней с похожими окончками, постфиксами. Кольч-уг-а, вь-юг-а, хап-уг-а, труд-яг-а, бел-уг-а, дор-ог-а (учитывая тор-ить). Тут можно догадаться, что есть или точно был исторически суффикс -уг- / -ог-. Пытаясь понять его природу, можно заметить ещё более древнюю словообразовательную схему, которая вообще не осознаётся носителями языка: бер-лог-а (лог-впадина Бера-медведя), залог (что-то в-место лог-а, изъятого из ямы).

Продуктивность каждого из этих вариантов относится к совершенно разным эпохам, и у каждого было значение, скорее всего не тождественное значению в нынешней словообразовательной парадигме (словообразовательных систем тех эпох мы просто не знаем). Если актуализировать реликты, то словообразовательно слово Волга можно делить по составу несколькими способами: волг-а, вол-г-а, волог-а, вол-ог-а, во-лог-а. Лишь один из них полностью жив для современного сознания. Все другие варианты состава слова, выделяемые по этому, формально-частотному употреблению или по чистой тюняевской интуиции, конечно, ощущаются. Даже так широко и полно, как у Тюняева. Но без уместного исторического контекста толкуются произвольно, спутано и просто ошибочно.

Никакого суффикса -га- в русском языке не замечено. Возможно, он есть в финском. Или в саамском. Но с чего вдруг переносить форманты одного языка в другой? Если только считать два языка одним. Вот-вот. Это чисто компаративистский подход. Тюняев не сам придумал такой «суффикс». Нечто подобное звучало и у Трубачева с Топоровым, да и в каждой книге по ономастике (может, просто по небрежности выражения?). См., например, миф о «речном» суффиксе -ога, – уга, – га, происходящих из *joki*, *jogi* или *oja* (значения слов река, ручей и т. п.), в изложении А.И. Попова, им же самим и дезавуированный из-за нелинейной вариативности реальных случаев («Географические названия. Введение в топонимику». М.-Л., 1965, с. 103–107, 114). Тем не менее по этой схеме возникают популярные версии образования слова Волга из Волонга путём ещё большей русификации произношения с утратой «н» прежней саамской основы (Д.Д. Машина. «О происхождении названия Волга» – <http://book-hall.ru/kanavino/zhivaya-entsiklopediya-kanavina/rus-i-normannyy-istoricheskom-rassledovanii-dd-mashinoi/o->). Что касается возможностей разбираемого перехода финско-саамских слов-суффиксов в -га, то замечено Фасмером даже для чистых случаев: «фин. *joki* "река" ... дало бы скорее Юг».

Но независимо от этой конкретной версии происхождения слова или окончки слова теоретически суффикс -га- можно допустить лишь для той эпохи, когда язык оперировал только неизменяемыми словами, не имел словоизменительной парадигмы. Очевидно, что когда такая эпоха была в жизни русского языка, он ещё не был русским языком. Окончаний не было, а суффиксы были вполне самостоятельными словами (ни -ог, ни -уг, а лоуг-лог-луг-look). В таком случае нужно искать, что за неопределённый «спутанный» (неизвестный, не финский, ни русский, ни английский) язык тогда был и каким словом был этот остаток «га». Неужто нга-нога? А кому-то больше нравится ёлы-пулукы.

Таким образом, Тюняев считает этимологией свою личную семантическую догадку. Поскольку она появляется как следствие его мировоззренческой установки, то он всего лишь,

как и классические компаративисты, обнаруживает установление, но не научно-коллективное, а, в лучшем случае, установление самого языка.

К сожалению, в силу полной некритичности это стихийное и массовое установление, деформирующее и современные, и древние смыслы. Тюняев просто искажает подлинные русские значения. Волок у него только долгая протяжённость (тогда как это сложно образовавшийся с-водный путь с затруднённо проходимыми участками, улегчаемыми различными приспособлениями – канавами, шлюзами, катками, смазкой, колёсами), волглая – многоводная (на самом деле, налитая, влажная, сырая, набухшая; бык волглый только в смысле приналившийся, заметно увеличившийся против нормы за счет искусственного содержания; так и Волга – волглая не в смысле многоводная, а более водная, чем была бы без людского руководства-подволачивания). Вдобавок слишком много абстрактных значений (велес, ваал, драконы), которые почему-то кажутся определяющими для названия реки, реального предмета местности. Из-за сугубых превратностей метода Тюняев, делая сводку всех актуальных современных, стапятидесятилетних, русских значений Волги (как великой русской реки, протянувшейся по всей территории) и произвольно добавляя мифопоэтических концептов, считает, что самоочевидное ощущение их единства это и есть этимология слова Волга.

Но из этой спутанной статистики исторической и местной семантической фактуры любой вывод будет только аллюзией. Возможно, даже соответствующей реальности (но это не узнать без научной проверки). На самом деле первая польза тут совсем в другом. Только так, необъятным перебором форм и смыслов могут быть обнаружены зацепки, поводы самого языка, намекающие на сохранённую в нём реальную историю. И чем больше разброс аллюзий, тем шире охват зацепок, тем на большую историю наводится зрение. Но мало собрать поводы в кучу. И таких, конечно, собрать можно много больше, чем Тюняев. Самое главное, они должны подталкивать к научному исследованию всех языковых и исторических обстоятельств.

Тем не менее всё это чистая эмпирия, статистика наблюдаемых фактов, т. е. нынешних, сохранившихся. Во-первых, современная статистика не только не является отражением любой прошлой ситуации, но, наоборот, её заведомым искажением. Тут может спасти лишь верная методология преодоления искажений. Обычно ею является компаративная схема – допустимость некоторых фонетико-грамматических исторических превращений от языка к языку, коррелируемая с наблюдаемой последовательностью смены материальных культур (в археологии), допускаемой как превращение (в этнографии и этнологии) и интерпретируемой как развитие (в истории). Очевидно, что лингвистическая допустимость основывается на фонетических, грамматических и пр. формальных «законах», которые отложились в опыте избирательного изучения (лишь предпочтительных современных и случайно сохранившихся фактов). По сути, за этим опытом (несомненно, успешным – из-за конечного, хоть и обширного, числа памятников и удобных предпочтений) стоит лишь система научных установлений (список понятийно выверенных положений научного аппарата, считающихся отложениями самого предмета). Не менее очевидно, что картина смены археологических культур точно так же, из-за её физической наблюдаемости – лишь того, что отыскалось, и того, что увиделось в отысканном – основывается на психофизических отложениях местности (сохраняется то, что предыдущие поколения решили сохранить) и психофизических же установках каждого конкретного наблюдателя (видят только по особенностям внешнего и внутреннего зрения). Л.С. Клейн: «Даже описать археологические факты нельзя без применения терминов, категорий, понятий и классификаций, а они обусловлены существующими теориями. А уж интерпретации, конечно, возникают из сети наших общих представлений, под влиянием теоретических взглядов, последние же развиваются почти независимо от фактов, почти автономно» («История археологической мысли», 2005 – <https://studfiles.net/preview/5568866/>). О допусках произвольности превращений предметов у историков не стоит даже говорить: интерпретация всегда разная не только в каждой теории, но и в каждой точке зрения.

А гораздо вернее наблюдать не сумбурную статистику всех языков, но логику одного языка. Любой один язык является не случайно, а закономерно, в реальной исторической последовательности сжатия элементов сложившейся системой лингвистических отложений, которые, к тому, отложились вследствие каких-то реальных исторических движений и как-то их отразили и сохранили. Эту идею в общей форме оспаривать и невозможно и бессмысленно. Однако гораздо сложнее применить её на практике. Тут требуется методология распаковки сжатий, извлечения отложений и реконструкции отражений.

Замечу кстати, что такая смысловая статистика является очень давней традицией, первоначально даже не воспринимаясь наивной. Именно по очевидным смыслам письменно-языковых свидетельств и памяти строились летописание (с установления хронологии) и первичная историография (с установления верных источников) и начальное сравнительное языковедение (с установления переводческих матриц-корреляций). Всё это началось с И. Скалигера в одном лице (тут и «Сокровищница хронологии», и «О монетном деле», и «Рассуждение о языках европейцев»), с 16 в., а потом развивалось вплоть до энциклопедистов, Гердера, Гумбольдта на Западе, Татищева, Ломоносова, Шишкова у нас. Но уже с Карамзина, когда органические языковые установки потеснились «научно» обоснованными мировоззренческими установлениями (западными), а вскоре созрела историческая критика (с Л. Ранке в 1824 г., опять же западная), произошло разделение того, что стали относить к науке (историографии и компаративистике), поставив в уже упомянутые строгие рамки удобных предположений, и того, что принято считать любительством, но что является другой, параллельно развивавшейся ветвью – языковедческой историологией (конечно, наивной, в силу становления). На славянской почве, начиная с Т. Воланского (собравшего фактографию, смыслоговорящие предметы), Е. Классена (учинившего семантическую проверку фактов-мифов) и П. Лукашевича (проверившего семантику речевыми корреляциями), традиция уже не прерывалась вплоть до нынешних Ю. Петухова, Н. Вашкевича и В. Чудинова и др. Собрано огромное множество семантических и формальных фактов, которые позволяют самые смелые аллюзии. Но всё это не системно, не в одном своде, не на одном языке общения, вне научного сознания и пока что не поддаётся даже простому огляду, тем более – отделению стоящих наблюдений от глупостей (очевидную сводку глупостей см. у А.А. Чубура: «Каменный век Восточной Европы в кривом зеркале российской лженауки», 2013 – <http://antropogenez.ru/article/697/>). Тем более, что общая историология, начиная с Фёдорова-Соловьёва (Маркса-Ницше) выделилась в особое философское подразделение, внутри которого на разных основаниях строились свои историософии, ныне предельно обмельчавшие и сбившиеся даже до олигофренического позитивизма (основанного на безудержной корысти и лицемерной политкорректности, посторонней теории).

Что касается наиболее вероятного пока прообраза (волокт-), по звуковой материи и семантике более всего годного, чтобы являться звуковым и смысловым источником слова Волга, то не составляет проблемы найти что-то похожее в разных языках и эпохах.

Собственно, с такой сводки начинает компаративистика. Чтобы не претендовать на открытие велосипеда, приведу выдержки из Викисловаря (который можно считать расширением Фасмера).

Волок. «Происходит от общеслав. формы *velkti «тащить», «волочь» с перегласовкой е/о. Буквально – «место, где (или предмет, который) надо волочить, тащить» (ср. рус. волок, болг. влак «рыболовная сеть», сербохорв. влак «невод», словенск. vlâk, ch. vlak, польск. w+ok «невод, бредень», в. – луж. w+oka «шлейф; полоз, башмак плуга, невод»). Ср. суф. производное от волок – волокуша. См. влечь. Родственно лит. âpvalkas «одежда; голенища сапог», лит. ûžvalkas «постельное покрывало», латышск. valks «спуск воды; сквозняк», латышск. uzvalks «верхнее платье», латышск. valka «сквозняк», греч. ολκός «борозда», лат. sulcus «борозда».

Волочить. «Происходит от праслав. *volčiti, от кот. в числе прочего произошли: ст. – слав. влачж, влачити (др.-греч. ἐλκεῖν), русск. волочь, волочить, укр. волочити, белор. валачы,

валачыць, болг. влача, сербохорв. влачити, влачим, словенск. vláčiti, чешск. vláčit, словацк. vláčiť, польск. włóczyć, в. – луж. włócić, н. – луж. włocyś. Праслав. *volčiti связано чередованием с *velkъ (волоку). Родственно лит. velkù, vi lkti «тащить», латышск. vėlku, vilkt – то же, авест. varəḱ- «тащить», frāvarčaiti «утаскивать», греч. ἑλκω «тащу», лат. sulcus «борозда», sulcō, -āre «пахать», алб. helk', hek' «тяну, срываю» из *solkeiō. Сюда же греч. αὐλαξ «борозда», εὐλάκα «плуг».

Это узаконенное родство звучания и значения разных слов разных языков из самых разных эпох столь наглядно, что можно ожидать, что момент возникновения слова Волга из какого-то диффузного по произношению и смыслу *wolъа относится к очень древней и странной эпохе, когда все эти языки и впрямь были одним – праязыком, что ли?

Но не стоит спешить. Эти созвучия с почти одним смыслом специально подобраны. Компаративисты исходят из аксиомы: всё, что в разных языках ПРАВИЛЬНО тождественно по форме и ОЧЕВИДНО подобно по мотивации смысла, то указывает на генетическое родство языков – на одну усреднённую форму и один обобщённый смысл реконструируемого праязыка. Кто и что определяет правила тождественности и очевидности мотивации? Сами ученые: по своим переводческим предпочтениям, со своей точки зрения и даже на свой вкус. А разве нельзя допустить другие предпочтения, точки зрения и вкусы? По компаративным взглядам это уже более двухсот лет строго, юридически запрещено. Даже когда сами компаративисты пытаются, вроде В. Махека, построить систематику нерегулярных соответствий, замечая какую-то непрямую правильность форм и игнорируя сходства лексической семантики. На самом деле это подбор статистики фонетических и морфологических аналогий. Та же компаративистика, но неосторожная.

Из других подходов можно для начала предположить исключительно внутри одного русского языка онимизацию апеллятива *во́лока* (в контексте *волога*-еда) с редукцией и выпадением гласного звука и последующим озвончением согласного. По форме эта схема стихийной трансформации вполне соответствует распространенной компаративной идее об образовании слов способом «поколенческих ошибок» (от младограмматиков до С.А. Старостина). Но возникает проблема со смыслами. Это значит сразу предположить волокна на реке с момента её освоения (заселения, творения?). А учитывая, по примеру Тюняева, разветвлённую корневую парадигму на «волок/г/ж», вообще нужно предположить сразу всё, чудесно появившееся с начала времён. Очевидно, такой ход мысли ведёт на очень скользкий путь, исключаемый прежде всего не лингвистикой.

Но суть дела в том, что такой случайной онимизации внутри одного языка в принципе не может быть. Автоматическое нормирование не позволит. Не могут одни и те же носители языка говорить слово правильно, тут же говорить его с ошибкой, считая две формы одним словом, а завтра наряду с первым словом употреблять его искажение как новое слово и не помнить, что это на самом деле одно слово. Может быть, как минимум, сознательное употребление похожих форм в разных смыслах (т. е. разумное создание нового слова) с последующим закреплением смысловых различительных моментов на письме. В живой речи принимать исходное слово и его трансформацию за два разных слова могут только носители другого языка, не владеющие нормами, которые слышат со стороны и толком не понимают слов чужого (авторитетного!) языка, но пользуются ими. Рано или поздно, при неизменности предметных коннотаций, они стилистически предпочитают одну форму, а при изменении предметности полностью переосмысливают. И лишь потом по этому местному употреблению, закрепившему в двух формах разные предметные коннотации, трансформация (вместе с новой авторитетной предметностью) может вернуться в исходный язык как новое слово (заимствоваться вместе с предметом). Тут нужно представить ситуацию тесного контакта двух разных языков и диффузное, неустоявшееся соседское употребление слов, которое преодолевается в каждом становящемся языке

по-разному, что и является образованием слов, по Марру, из одного «праязыкового состояния» (не из праязыка! Такого просто не может быть!). Это объясняет и соответствия-расхождения форм, близость и разницу значений и все наличные несходства. Проблема образования слова Волга автоматически становится межъязыковой проблемой, правильно поставленной.

Чтобы обнаружить происхождение слов, необходимо сравнивать все созвучные, а не только отобранные слова разных языков. Сразу же определяется и методологическая проблема: как сравнивать, на каком основании. Традиционная компаративистика сравнивает по так называемым «праязыковым реконструкциям», усреднённым моделям коррелирующих слов разных языков. Марровская компаративистика – по отборным первоматрицам (типологическим формам, которые считаются древнейшими диффузными первословами: сал, бер, йон и рош). Оба способа опираются на теоретико-нормативные предположения, пусть и разные, которые заранее, до опыта сравнения предписывают модель образования слов и вообще – модель развития языков. Нужно действовать безустановочно, исходя из самих элементарных фактов.

Стоит только заглянуть в словарь любого языка и проверить звуковую материю на [волак, валок, волаг] и т. п., т. е. найти звуковые, не письменные (!) сходства, как обнаружишь уйму похожих и с виду не родственных слов, не имеющих также явного родства значений, но, несомненно, как-то перекликающихся по смыслу.

Я приводил уже ряд балтских слов, которые хоть и не всегда коррелируют «родственно», по правилам звуковых переходов с русским, но вполне очевидна их сопричастность с русскими словами. Повторю и добавлю кое-чего только из литовского (для концентрации), модифицируя русские формы для опознания мотиваций. *Valka* лужа-во́луга (волока), *valkės* волокуша-во́лкушь, *valkius* катаракта-(по)волоки(ость), *valkata* бродяга-волокат, *vilgšnas* влажный-волгш-ный, *vilgyti* мочить-во́лкать, *válgyti* есть-во-алкать, *valgis* еда-въелого (волога), *valgus* прожорливый-въелгой, *valgykla* столовая-въелги-кла(дь), *valgovas* едок-въелговый-во́лговый, *pavilga* приправа-по-въелока, *pavilgas* примочка (по-волочка), *vilkas* волк-влек-ий-в(е)ликий, *vilkti* волочить-влекти, *vilkėti* носить (одежду) – ва́лкать, т. е. изнашивать, *velenas* вал-валун, *volas* вал, насыпь, каток (ска́ток с-вала), *valas* кромка; лёска (явные омонимы: от вал и волос), *valstybė* государство-волостыбь, *valstija* штат-волостия, *valstietis* крестьянин-волостец, *valingas* волевой-вольный, *volungė* иволга-волюнга.

Собранные тут слова при некотором внешнем сходстве ни в коем случае не являются однокоренными в литовском языке даже в тяготеющих друг к другу группах слов. Это кажется странным, например, для форманта *valk-*, одного и того же на письме, но не объединившего всё-таки слова (в лучшем случае сближают волокушу и бродягу). Даже в наиболее цельной группе «еды» разновидность еды, *pavilga*, больше звучит как увлажняющее еду средство, обволакивающая поливка, обвъелочка. Ясно, что все слова относятся к совершенно разным эпохам образования. Похожие форманты каждой эпохи крайне плохо сравниваются носителями языка по звуку и применяются с совершенно разными смыслами. Тем удивительнее, что русское прочтение позволяет резко сблизить и корни, и смыслы. В формате *valk-* обнаружился корень волок (с намёком его расчленения на более архаичное во-лог/луг.) К этому же корню присоединился и формант *vilg-*: влажность определённо вычленяется из вологости, продолжительного волочения. И хотя эти форманты должны прямо восходить к *vilk-* с прямым значением «волочить», это не происходит легко и непосредственно. Дело в том, что во внутренней форме *vilk-* проявляется в большей степени более узкий смысл *vil-/val-/vel-* (вел, вил, вал, вель), что по-русски хорошо передается не предметным волочь, а производным от него более умозрительным влечь/велек/велей. Отсюда и в *vilkas*-волке актуализирована и дополнительная мотивация – великости. Но главное, что по звуковой органичности не *valk-* происходит из *vilk-*, а наоборот *vilk-* из *valk-*. Слово с родовым значением (движения) имеет вторичную внутреннюю форму (нюансировки движения), не содержащую в себе прямо внутреннюю форму родового значения. Эта мотивация точно сохраняется в русском, но не осознаётся, утрачена в литовском

языке. Позднее переосмысление значений привело к совершенно новой расстановке значимости старых формантов.

Хорошо видно переосмысленность звуковых форм, доходящую до путаницы на фоне русского, в группе слов, которую номинально, без деталей можно перевести значением «вал». Каждое слово имеет разную огласовку, а наиболее предметное слово, *velenas*, и своеобразие корневого форманта, отсылающего совсем к другому форманту и значению: рус. валун переосмыслено как вал. Такое переосмысление может быть в ситуации наблюдения вала из валунов по замещению целого вала наиболее впечатляющей его частью (и невозможно помыслить вал из валуна, это значит не заметить вала, не понимать его природы; в русском возможно лишь шуточное название, подчеркивающее, что вал свалился неизвестно откуда). В *volas* акцентирован конструктивный момент семантики (произвольно насыпанное, текучее, скользящее, вольное – лазное), отчего и сохраняется в значении слова набор многозначности конкретных и абстрактных сторон предмета). Форма, максимально похожая на русскую форму, *valas*, содержит в себе значения, только в переносном смысле сопричастные с валом (кромка тут, по родству значений в этом слове, – вал подшивки, обмётки на одежде или вал камешков-узоров, например бисерных, на ткани); т. е. в опыте реальные валы этим словом не называли. Наконец, нить (похожая на волос) может быть валиком на той же ткани только при сугубо технологическом подходе ткачества полотна, когда мастером выделяются элементы материала и называются метонимически по бытовой инерции. Но с этим естественным производственным переосмыслением ничего общего не имеет название рыболовецкой «нити» волосом. Леска первоначально и делалась из волоса, а литовцы первоначально называли её вполне по-русски «волос». Название не менялось и не могло измениться по технологической простоте и цельности предназначения лески. Изменился материал, а название сохранилось. Как же соединились два столь разных значения, валик-«нить» и нить волоса, в одно? По смежности названия лит. вал(ос) и рус. волос и по тождеству написания.

Стоит это понять, как будет ясно и то, почему первоначальный вал переосмысливался технологически в кромку, а потом и вовсе в нить. Это происходило под жёстким требованием омонимии записи, а направление интерпретаций определялось особенностями внедряемых (ремесленных) занятий. Правила письма меняли язык в сторону технологической выгоды. Если это так, то сразу ясно и то, что слово вал со значением «вал» не существовало первоначально в такой записи, а записываться стало уже в значении «кромка» с добавлением специфического окончания как вал-ос. Волос с виду имел это же окончание, поэтому попал в запись без изменений. Требования письма, орфографические установки меняли речь в сторону авторитетного произношения.

Хронологию этих изменений несложно заметить (разумеется, как лёгкий и поэтому гипотетический пример, сделанный по наблюдением над малой группой слов, а не всей лексической базы языков). Контакт на уровне некоторого взаимопонимания русского и литовского языков обнаруживается, как минимум, со времени валунов, сложенных в вал. Допустим, это, по Топорову, «симбиоз» славяно-балтов в Прибалтике и на Русской равнине в сер. 2. тыс. до н. э. Однако какие валуны и валы из них на балтийских болотах в ту эпоху? Да и не понимает язык валов, как уже замечено. Точно так же лес-пуща по видению этих путников-путаников, т. е. очень внешне, называется *gīgia*-горя, в отличие от обычного *miškas*-межки, т. е. колки. С появлением разности в условиях проживания (уже не каменные, а ледяные валы) и в местных промыслах (например, янтарно-бисерного) неизбежны технологические переосмысления – из-за уменьшения числа контактов и нерегулярностей традиционного письма, раз уж корневой формант варьируется: *val-/vol-*. Тут уже и прибалтская местность, и время компаративно то, и никакого русского языка рядом, хотя всё ещё русские валы-волы крепко сидят, если не на языке, то на письме (может, писали *VJ*, а читали так и эдак?). Но основные изменения неизбежно происходили со сменой модели записи – в контакте кириллического и латин-

ского письма при смене авторитетов от местных к римским и западным. Эта языковая ситуация проявилась, как минимум, в момент максимального расцвета и расширения Древнего Рима в начале нашей эры. Именно тогда активизировалось обращение по Янтарному пути, привязывавшее Прибалтику к Риму как сырьевую базу. Подобное продолжалось больше тысячи лет и увенчалось принятием Литвой католичества в 1387 г. Впрочем, движение Литвы на Запад продолжается и до сих пор. И сейчас наглядно видно, как поступают балты, перенося русские слова в свой язык, – записывают латиницей по своей орфографии и добавляют национальное окончание. Был Иванов, стал Ivanovas или даже Ivanas. Это было и сто, и триста, и пятьсот лет назад в случаях вынужденного заимствования и адаптации, вроде *valstietis* из волоштет, волостет-с, волостец, волостянин или т. п.

Разумеется, чтение литовских слов по русской мотивации кажется ненаучным, если считать наукой только компаративный подход. На самом деле академическая наука так же читает один язык по шаблону другого. Но иерархия чтения задана историко-юридически, а не лингвистически: нормально читать русский по литовскому коду, а не наоборот. Но так можно «читать» (т. е. авторитетно возводить) только значения, а не мотивации. А значения сами по себе, конечно, «равноправны», чтобы из них можно было строго выводить. Откупщиков: «Широко распространенное изменение 'гора' 'лес' (ср.: д. – инд. *giris* 'гора' – лит. *gire* 'лес', рус. гора – болг. гора 'лес' и мн. др.) само по себе не дает еще достаточного материала для установления этимологии перечисленных слов» (указ. соч.). Понятно, нет никаких оснований в значениях и формах выбрать, какое их соответствие друг другу является первичным. Особенно, если заранее, до всякого анализа считать первичным что-то третье, чего сейчас точно нет и из чего путём искажения появились оба. Совсем не то с мотивациями. Я уже не раз показывал, что русская мотивация и форма не выводится из литовской. С расстояния горы не видно под лесом, поэтому и считаешь услышанное плохо понимаемое слово «гора» лесом (попутно ясно, что значение закрепилось тогда, когда жили, может даже, в безлесной степи и пользовались только привозной с гор, «гирий» лес, с украинским акцентом). А чтобы переосмыслить литовский лес в гору, нужно допустить, как минимум, что лес растёт только на горах и не бывает гор без леса. Тем более невозможно из «гирия» услышать «гара», максимум, возможна «гиря, герия». Только логика реальной ситуации, открытой перекрёстными мотивациями слов, взятых самими по себе, является единственным инструментом и критерием научной этимологии. Никак не древность, академичность, частотность, аналогичность, изосемантичность, языковая первозданность и пр. рассматриваемых форм и значений.

Если говорить в целом, первоначально лингвисты примитивно брали один существующий язык, санскрит, латынь, готский и т. п., называли праязыком и читали все языки по его коду. Но последние пару столетий стараются действовать тоньше: выбирают в похожих словах одинаковые мотивации, игнорируют неодинаковые, одинаковость признают за праязыковое значение, конструируя ему из похожих слов усреднённую звуковую оболочку, а неодинаковость мотиваций и разность звучаний считают искажением прасостояния, т. е. самобытным развитием каждого языка. Таким образом, читают политкорректным сводным отражением всех учённых языков. Примеров такого чтения я уже дал много, хоть от Фасмера, хоть от Трубачёва. Языки уравниваются и ровняются-усекаются тождественными формами и общими значениями, возводимыми к усреднённой норме, но ни в коем случае не сравниваются друг с другом ни в звуковом, ни в семантическом плане, поскольку за статистикой регулярных соответствий и статистикой «вымывания» лексических сходств нет никакого понимания врождённых и социальных установок звуко- и смыслообразования в каждом языке и народе.

Наоборот, в паре языков проверка одного и того же звукоряда (как общего шифра) более системной мотивацией точно показывает, звуковая материя какого языка имеет более целостную и глубокую проработку. Чем больше слов в языке образуется по одной модели мотивации и восходит в одной словообразовательной парадигме к одному производительному форманту,

тем больше история развития языка, тем больше в него вложено опыта и ума, тем больше в нём аккумулировано реальных исторических ситуаций. Пределом, идеалом развития является, несомненно, однословность языка. Т. е. наличие в языке такого одного форманта, с помощью которого и его производных, так называемым «пучком слов» (Март), охватывается вся предметная зона. И русский язык гораздо ближе к этому идеалу, чем литовский. Хотя по-настоящему его однословность резко бросается в глаза и выявляется только на фоне литовского положения дел, с попутными подсказками из литовского языка, сохранившего такие связи и переходы, которые в русском формально незаметны. Разумеется, я могу ошибаться в отношении литовского, т. к. он не является мне родным. Но тут уже карты в руки исконным носителям языка, которые, без сомнения, могут показать не известные мне механизмы и пласты языка, позволяющие легко расшифровывать и какие-то клады русского наречия.

Если мы будем концентрироваться только на явном регулярно-соответственном созвучии форм и желательном постоянстве значений, то будем отражать лишь то неизменное, что всё время, наблюдаемое время, есть в наблюдаемых нами языках. Так исключается неизвестное, ненаблюдаемое и непостоянно-живое. Так мы просто позитивистски (но не по логике предмета) укладываем по полочкам свое знание. Если же видеть весь разноречивый, и сходства и различия разных языков, и допустить, что оно не случайно, как нам кажется сейчас, а был момент, когда оно было оправдано каким-то оперативным единством языков (контактом, родством, заимствованием или т. п.), тогда появляется возможность восстановить ненаблюдаемую языковую ситуацию этого вероятного единства. Сама сводка форм и значений является нынешним отражением той ситуации. Без неё никак. Но компаративисты предъявляют только вычищенную сводку, всё остальное объявляя случайностью. Так до всякого научного анализа совершаются не критические сравнение и отбор, фальсифицирующие реальное положение дел.

Таким образом, примерный разбор несоответственных, с точки зрения компаративистики, незаконных (ни по фонетическим, ни по юридическо-академическим законам) русско-литовских корреляций, позволяет увидеть собственную системную реальность каждого языка. Не формальную или лексикостатистическую реальность условно объединенного тождественного языка, как это делает компаративистика, а значимостную, показывающую, какие форманты системы и какими системными значениями контактируют в зонах общих для языков смысловых звуков. По слову это почти Соссюр: «Этимология – это в первую очередь объяснение того или другого слова при помощи установления его отношения к другим словам» («Курс общей лингвистики». Екатеринбург, 1999, с. 190 – <http://vpn.int.ru/files-view-5055.html>). Но на практике этимологии Соссюр вовсе не занимался значимостями.

Отсюда понятно, что сбор примеров для семантической статистики должен быть не столько правильно заданным и не только произвольным, а уместным – по реальному предмету поиска и по близким предмету языкам и языковым значениям.

Что касается Волги и волока, казалось бы, всё уместное и близкое по данным истории, пусть вкратце, уже рассмотрено: родственные факты и родственные языки в зоне Волги, откуда есть сама река и откуда пошло её название. Однако заданность такого ощущения выявляется тотчас же, как произвольно заглянешь в другие, пусть сейчас не территориально близкие языки, чтобы посмотреть, как выглядит и что значит в них звукоряд «волок».

Вот, например, английский язык. В нём значения сухопутного пути между портами передаётся фр. «portage», производным от лат. «перевозить». Самое распространенное слово для «волочить, тащить» drag имеет другой формант. А собственное слово walk, как и все английские слова, ситуативно многозначно и по семантике, и по грамматике: идти, ходить, гулять; тропа, шаг, ходьба. Если обобщить смыслы, то сутью значения является диффузный, неграмматикализированный концепт «переход, перевалка» (зелёный сигнал светофора для пешеходов так и обозначается – walk, переволок). Сюда же walker ходок и Walker иронически: переваливаешь (сверх меры), на сленге, врешь; walking ходьба, походка, гуляющий, ходячий (перевали-

ливание), wale рубец, wall стена, преграда, бок (скалы); walkaway (букв. путь преодоления?) лёгкая победа; walkover (букв. над перевалкой?) обзор, контроль, лёгкая победа; walla(h) человек, парень, слуга, служащий, хозяин; wallow валяние (в грязи), полянка или лужа, где валяются животные, барахтаться, передвигаться неуклюже; warlock волшебник, маг, колдун (букв. запирающий войну? волхв?); wally разг. бестолочь; valgus косолапость. Несмотря на то, что большинство значений переносное или очень отдаленное от реальных предметов, тематическая связь с русским волоком-предметом очень даже ощущается. Важно, что и усложнённые новообразования сохраняют те же концепты неизменными. Господствуют мотивы преодоления, напряжения, падения-возвышения и их градаций, включая физическое загрязнение при том или ином валовании. Тут многообразно сохраняется даже звуковая форма «вала», а в каждом пучке значений есть и очень архаичное (в том же wall – скала или валун). Удивительна и форма wallah, если не считать английский акцент, тождественная рус. волог, а по пучку ситуативных коннотаций сохраняющая и все его исторические значения.

Ну и что, если даже все эти переключки смысла и звука есть? Языки-де родственные, индоевропейские. Легко могут одни и те же слова по-разному сохраняться в разных языках. Что же, перебирать все случайности? Dead-мёртвый и дед, flot и флот-плот, round-фунт и пуд. На то-де и есть закономерные соответствия. Большое количество примеров видимого и фактического сходства, систематизированных по разным категориям, см. у А.А. Зализняка: «О профессиональной и любительской лингвистике» («Наука и жизнь», 2009, №№ 1-2 – http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430720). А вот его обобщение: «Внешнее сходство двух слов (или двух корней) само по себе еще не является свидетельством какой бы то ни было исторической связи между ними... Нельзя принимать всерьез никакое сочинение, в котором какие бы то ни было утверждения основаны только на том, что два слова созвучны, без более глубокого анализа источника этого созвучия».

Несомненно, любая такая сводка при всей её полноте и массовости – ничто без анализа. Но какого именно анализа? По Зализняку: «Созвучие английского и русского слов может иметь два принципиально различных источника: 1) наличие исторической связи между двумя словами; 2) случайность. У исторической связи есть два варианта: а) историческое родство, то есть происхождение из одного и того же слова того языка, который был общим предком взятых языков (для английского и русского таким предком является праиндоевропейский язык); б) отношение заимствования (то есть в данном случае тот факт, что либо русское слово есть результат заимствования именно этого английского слова, либо наоборот)».

Обычно, чтобы установить факт заимствования, исходят из того, какой язык считается древнее или хотя бы находят подтверждение в более древних памятниках (используя в качестве таковых доказано более древние языки). Именно эти «считаемость» и «доказанность» в каждом конкретном случае и являются ложными основаниями вывода, произвольными конвенциональными допущениями. Строго по науке (не по компаративистике) факт заимствования (что равно обнаружению какого-то фактического родства, контакта носителей языка) можно установить только одним путём: сопоставляя по этим конкретным образцам произносительно-различительные навыки, «акценты-значения», по Фосслеру, нормальные для каждого языка, и рассматривая значения этих слов в единой для двух языков реальной ситуации, восстановленной по соотношению мотиваций. Если удаётся проникнуть в подлинную ситуацию и мотивацию, то сразу ясно, насколько кажущейся была видимая случайность сходства.

То, что названо у Зализняка историческим родством каких-то двух, например, с виду похожих слов, является, во-первых, алогичным заверением, что два этих чем-то похожих слова – это одно слово, во-вторых, непроверяемым предположением, что это одно воображаемое слово существовало в прошлом, в-третьих – произвольным утверждением наличия в прошлом неизвестного и недокументированного феномена, праязыка. Однако по фактам,

вместо этих недоказуемых умозрительных положений компаративисты подставляют детали исторических памятников – в самом деле наблюдаемые исторические связи этих слов, но наблюдаемые случайно, фрагментарно и изолированно (в чём, однако, нечто «считается» стопроцентно «доказанным»). Если уж говорить, что у исследуемых слов возможна какая-то историческая связь, то нужно предъявлять эту историю: историю вещей, отразившихся в значениях, историю мотиваций, сохранивших позицию каждого языка в истории вещей, наконец, нужно показать историю изменения форм, показывающую, почему именно два слова стали так различаемо-сходны. Как уже многократно иллюстрировалось, компаративисты вместо реальной истории могут показывать лишь свои аллюзии, ощущения и переживания по поводу явно наблюдаемых фактов. А при дотошном изображении изменений форм они странным образом отождествляют точно зафиксированные изменения в записях (только и замечаемые ими) с изменениями в живых назаписанных языках (о которых они вообще и знать не хотят).

По Зализняку: «Вот примеры сходства как формы, так и значения, за которым, однако, не стоит ни отношения родства, ни отношения заимствования, то есть ничего, кроме чистой случайности. Итальянское *stran-o* ‘странный’ и русское *стран-ный* одинаковы по значению и имеют одинаковый корень (но итальянское слово произошло из латинского *extraneus* ‘внешний, посторонний, иностранный’, от *extra* ‘вне’, а в русском тот же корень, что в *страна*, *сторона*»). Разумеется, если вбить себе в голову установку, что между итальянским и латинским родство есть, а русский не при делах, если считать неизменно-богоданным морфемный и морфологический строй каждого языка, то всё и кажется случайностью. Однако почему-то сам Зализняк сообщает, что и латинское значение по-сторон-ный совпадает с корнем и значением русского слова *ст(о)рона*. Ещё удивительнее, что сходны и латинские, и русские форманты: *ex-tra* (эк-с-тра, из-страны, извне) и *с-тра-на*. *Тра-тор* – и в том, и другом случае реликт слова *тара*, земля (откуда торный, таракан, дорога). Не вдаваясь в объясняющие детали, уже на этой стадии видно, что никакой случайности нет, что *странный* и в итальянском, и в русском одного древнего корня и похожих путей происхождения. Правда в русском словообразовательные связи сохранились на виду в рамках одного языка (с лёгким забвением значения древнего корня), а в итальянском все связи мотивированы только через другой, латинский язык, который сам тоже не помнит ни древних значений, ни корней (раз даёт рядом немотивированное *terra-тара*).

Так что при наблюдении сходных форм и значений требуется совсем другой анализ – начальный анализ самого установления сходства и его степени. Не компаративная подгонка исторического вывода звуков из диффузного предка в тех случаях, где существуют однообразные документированные (т. е. письменные) регулярные корреляции. А реальный акцент, адаптация чужой речи по живому слышанию к своему произношению. Прежде чем что-то отобрать, нужно проделать опыты слушания-чтения слов одного языка по стандартам различения другого и сделать попытки произнесения их на своём стандарте произношения.

Начинать нужно всегда с нормального отчётливого произношения и нормального не сбитого слышания. При слове *walk* русский слышит нечто похожее на *оол-уолк*, а скажет с повышенной ударностью *ол* или *olk* (принимая огублённую долготу за акцент). С письменной или устной гиперкоррекцией воспроизведёт как *валк*. Англ на месте *волок* слышит *volek*, а скажет *валэк*: *валлак*, чтобы выделить странный *л*, или *валк* при сильной редукции. Русское произношение, как видим, отчётливо воспринимается, требует редукцию слаборазличающихся акцентов и разрешает речевое сжатие; концепта *walk* нет в русском языке ни в похожем, ни в искажённом виде (звукосочетания *валко*, *валка* имеют другие, более абстрактные значения признаков и действий, чем то же лит. *valka*, *лу́жа*, место *переволо́ка*). Английское произношение хуже дешифруется на слух и позволяет редукцию сжатия слов – именно в том направлении, в каком мы и находим концепт “*волок*” в английском языке, и точь-в-точь как отражение английского слова в русском языке. Русское и английское слышание-звукоразличение одинаково, но различны установки звукоразличения. В произношении английского языка вари-

анты близких по месту образования звуков фонемизированы (w-v, s/z-th и т. п.). В русском такие лично-произносительные варианты являются одной фонемой, но все фонемы системно вариативны (по мягкости-твёрдости, глухости-звонкости и т. д.). Англу труднее освоить русское произношение (из-за его системной многоуровневости и вариативности), чем русскому английское. Носителю русского произношения трудно воспринимать неакцентированную и невнятную английскую речь (из-за её произвольной нерегулярности), но легко моделировать, когда она понятна.

Итак, если заимствование, переход этого словесного концепта из языка в язык, и было, то оно может произойти только одним путём: как переход из русского произношения в английское слышание-произношение. Однако только в устном контакте это в принципе невозможно. Нет никаких оснований англу в своей речи менять звук v на w. Язык не развивается из-за речевых ошибок вопреки младограмматическим ещё бредням (ошибки «младших» постоянны, но они автоматически опознаются как ошибки «старшими» и тут же исправляются). Либо русские должны были говорить не волок, а волок, и тогда англы органично это заимствовали и модифицировали, либо изменение возникло вследствие ошибки, опосредованной письменной передачей.

Предположим, что были тексты. Либо на английском, либо на русском языках. При чтении из текста возможны варианты (не умеющие читать своё письмо не берутся в расчёт). Знающие чужие правила письма и язык прочтут и передадут по норме в меру своего владения акцентом. Незнающие сделают это случайно, как попало, как полную ерунду. Смоделируем. Русский прочтёт: валк, оалк, залк / ваик, оaik, заик. Англ: bojlok, boliok, bollok, bovok. Только в одном случае, при русском чтении английское слово по недоразумению может быть воспринято похоже на оригинал. Выбрать затем из недоразумений похожее – можно только упорной научной работой со многими текстами чужого языка. Чтобы кто-то это делал, дешифруя непонятные тексты, ища во всей бессмысленной чепухе осмысленное слово "валк", нужно хотя бы иметь подавляющее множество таких, якобы англских текстов. Раз слова-концепта "валк" нет в русском, значит прежде всего не было текстов-источников. При гипотетическом английском чтении вообще нет ничего похожего. Зато есть в самом языке слово, странно похожее, хоть и с системно-языковой поправкой, на смоделированное чтение незнающего англа: bollock вульг. яйца, ерунда, чепуха, отругать. Т. е. читали – не понимали, гадали – понимали, что чепуха, но текст был настолько авторитетен, что слово сохранили как знак бессмыслицы, получивший, однако, вполне логическое развитие внутри своего языка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.